



К.М.Станюкович. «Морские рассказы» //Издательство «Художественная литература», Москва, 1973
FB2: "Ustas ", 2006-07-17, version 1.0
UUID: F46C1843-E437-4D00-A1E5-33C9B8A2C378
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Беспокойный адмирал
(«Морские рассказы»)

Содержание

I	.0005
II	.0017
III	.0025
IV	.0030
V	.0047
VI	.0059
VII	.0066
VIII	.0074
IX	.0091
X	.0111
XI	.0123
XII	.0129
XIII	.0143
XIV	.0150
XV	.0161
XVI	.0170
XVII	.0191
XVIII	.0194
XIX	.0201
XX	.0218
XXI	.0237
XXII	.0245

**Константин Михайлович
Станюкович
Беспокойный адмирал**

В это прелестное, дышавшее свежестью раннее утро в Тихом океане на вахте флагманского корвета «Резвый» стоял первый лейтенант Владимир Андреевич Снежков, прозванный в шутку матросами «теткой Авдотьей».

Прозвище это не лишено было меткости.

Действительно, и в полноватой фигуре лейтенанта, и в его круглом и рыхлом, покрытом веснушками лице, и в его служебной суетливости, и в тоненьком, визгливом тенорке было что-то бабье.

Собой Владимир Андреевич был далеко не казист. Благодаря своим выкатившимся рачьим глазам он всегда имел несколько ошалелый вид. У него были рыжие жидкие баки и усы, очень толстые губы и большой неуклюжий мясистый нос, украшенный крупной бородавкой. Эту бородавку, смущавшую лейтенанта особенно перед приходами в порты, корветский доктор хвастливо обещал свести, но до сих пор не свел, к большому огорчению Владимира Андреевича.

Обыкновенно бывавший на вахтах в удру-

ченном томлении трусливого человека, ожидавшего «разноса», Снежков сегодня находился в хорошем расположении духа. Он с беззаботным видом шагал себе по мостику, поглядывая то на океан, кативший с тихим гулом свои могучие волны, сверкавшие под ослепительными лучами солнца, то на надувшиеся белые паруса, мчавшие «Резвый» благодаря ровному попутному ветру до десяти узлов в час, то на только что вымытую палубу, на которой происходила теперь ожесточенная обычная утренняя чистка, то на клипер «Голубчик», который, слегка накренившись, похожий на белоснежную чайку, несся чуть-чуть впереди, убравши брамсели, чтоб уменьшить свой бег и не «показывать пяток», как говорят моряки, корвету, с которым, по приказанию адмирала, шел соединенно от Сан-Франциско до Нагасаки.

По временам Владимир Андреевич, несмотря на свой солидный вид человека, отзвонившего в лейтенантском чине двенадцать лет и недавно отпраздновавшего тридцатипятилетнюю годовщину, даже тихонько подсвистывал игривый вальсик, слышанный

им в сан-францисском кафешантане и живо напоминавший ему о знакомстве с очаровательной певичкой американкой.

Воспоминания об этих недавних днях были приятные, черт возьми! Нужды нет, что в две недели стоянки певичка заставила своего влюбленного поклонника спустить не только жалованье за два месяца, но и все его небольшие сбережения за два года плавания. Он об этом не жалеет, до того неотразима была эта мисс Клэр, пухленькая блондинка с золотистыми волосами и карими глазками, сразу овладевшая мягким сердцем Владимира Андреевича, как только он съехал на берег после месячного перехода, увидел эту мисс и, познакомившись, пригласил ее любезной пантомимой вместе поужинать.

Небось он отлично объяснялся с ней, и чем дальше, тем лучше, несмотря на то, что знал по-английски не более десятка-другого слов. Но зато каких слов! Все самых существенных и нежных, которые он добросовестно вызубрил по лексикону и повторял в различных комбинациях, подкрепляя их мимикой, особенно выразительной после двух-трех буты-

лок шампанского.

Слава богу, ему не нужно было прибегать к помощи кого-нибудь из товарищей, знающих английский язык, как он имел глупость делать прежде. Теперь он и сам храбро выпаливал английские слова, не заботясь ни о малочисленности, ни об их логической связи. Придет он к мисс Клэр в гостиницу, поклонится, поцелует ручку, сядет около и, воззрившись на нее, словно кот на сало, начнет, как он выражался, «отжаривать»:

— Добрый день... милая... очень рад... который час... отлично... как ваше здоровье... очаровательная... выпить, ехать... ножки... ручки... очень хорошо... восторг...

«Отжарив» эти слова, он начинал снова, но уже в обратном порядке, начиная с «восторга» и кончая «добрым днем», и разговор выходил хоть куда! Мисс Клэр хохотала как сумасшедшая, трепала лейтенанта по рыхлой щеке и отвечала милыми речами. Что она ему говорила, Снежков, разумеется, и до сих пор не знает, но тогда он делал вид, что все понимает, убеждая ее в этом весьма простым способом: он вынимал из кармана несколько зо-

лотых монет, больших, средних и малых, клал их на свою широкую пухлую ладонь и предлагал знаками выбрать одну из них на память.

Но американка с такой ловкостью стягивала своей маленькой ручкой сразу все монеты с ладони лейтенанта, что он приходил в восхищение и после такого фокуса в восторге лепетал свои заученные слова.

Никогда впредь не обратится он в таких делах к чужому посредничеству. Знает он этих переводчиков! Влюбчивый и ревнивый, Владимир Андреевич не забыл и теперь, как года полтора тому назад с ним бессовестно поступил мичман Щеглов в Каптауне. Нечего сказать, благородно!

В качестве переводчика мичман обедал на счет Владимира Андреевича в обществе строгой на вид, чинной и красивой англичанки не первой молодости, «благородной вдовы, случайно попавшей в Каптаун после кораблекрушения, лишившего ее всего состояния», которую лейтенант, при любезном посредстве мичмана, не замедлил пригласить обедать в номер гостиницы после первой же

встречи на улице и краткого знакомства с ее биографией.

Казалось, Щеглов самым добросовестным образом переводил комплименты и излияния лейтенанта, уплетая при этом вкусный заказной обед с волчьим аппетитом двадцатилетнего мичмана. Казалось, что и англичанка, работавшая своими челюстями с не меньшим усердием, чем мичман, пившая не хуже самого Владимира Андреевича и ставшая к концу обеда менее строгой на вид, довольно мило стиво слушала переводчика, бросая по временам благосклонные взгляды на амфитриона, пожиравшего жадными взглядами и белую шею, и полные руки этой дамы. Оставалось только разведать о наилучших путях к сердцу «благородной вдовы, потерпевшей кораблекрушение». И эту щекотливую миссию Щеглов исполнил, по-видимому, вполне удовлетворительно, так что Владимир Андреевич на радостях потребовал еще шампанского. Затем последовали коньяк и кофе, и когда лейтенант вышел на минутку в сад, чтобы несколько освежить голову после капских вин, шампанского и коньяку, и затем вернулся в ну-

мер, ни вдовы, ни мичмана не было. Лакей доложил, что они уехали кататься и обещали скоро вернуться, и подал кругленький счетец.

Взбешенный Владимир Андреевич напрасно прождал их до позднего вечера. Они так и не приехали, а мичман, на следующее утро вернувшийся на корвет, с самым серьезным видом утверждал, что «благородная вдова, потерпевшая крушение», внезапно почувствовала себя нездоровой и настойчиво просила ее увезти.

— Что мне было делать?.. Согласитесь, что я не виноват, Владимир Андреевич... И она, знаете ли, не какая-нибудь авантюристка, а настоящая леди!.. — прибавил мичман, подавляя улыбку.

С тех пор Владимир Андреич уж не брал с собой на берег переводчиков, а принялся за лексикон. И опыт в Сан-Франциско доказал, что он отлично может объясняться по-английски.

Лейтенант снова взглянул на паруса — стоят отлично; взглянул на компас — на румбе; озабоченно взглянул на люк адмиральской каюты — слава богу, закрыт.

И он опять зашагал по мостику.

После воспоминаний о прошлом в его голове проносились приятные мысли о близком будущем. В самом деле, плавание предстояло заманчивое. И флаг-капитан и флаг-офицер еще вчера положительно утверждали, что «Резвый» из Нагасаки пойдет в Австралию и посетит Сидней и Мельбурн, а «Голубчик» отправится в Гонконг для осмотра своей подводной части в доке, а оттуда в Новую Каледонию, где должен ожидать «Резвого» с адмиралом... Бедный «Голубчик»! — ему не «пофартило». Новая Каледония с дикими черномазыми дамами!

«А Сидней и Мельбурн — отличные порты, не то что эти китайские и японские трущобы с узкоглазыми туземками, достаточно-таки надоевшими», — размышлял Владимир Андреевич и, предвкушая будущие удовольствия, весело улыбнулся и опять стал подсвистывать, вызывая некоторое недоумение в сигнальщике, который привык видеть на вахте Снежкова всегда озабоченным, суетливым и удрученным.

«Что за диковина? Тетка Авдотья весе-

лая!» — подумал сигнальщик.

Подобное необычайное настроение Владимира Андреевича с подсвистываньем и приятными воспоминаниями объяснялось исключительно тем счастливым обстоятельством, что «беспокойный адмирал», как звали про себя начальника эскадры солидные капитаны и лейтенанты, или «свирепый Ванька» и «глазастый черт», как более образно втихомолку выражались легкомысленные мичмана и гардемарины, ни разу не выходил наверх во время его вахты и — бог даст! — не выйдет до подъема флага, до восьми часов, когда вахта окончится. Вчера беспокойный адмирал поздно лег спать и, верно, проспит долго!

Все на корвете боялись беспокойного адмирала, но никто так не трусил его, как Владимир Андреевич. Усердный служака, но далеко не моряк по призванию, нерешительный, трусливый и достаточно-таки рохля, он в присутствии адмирала совсем терялся, и робкая его душа замирала от страха, что ему «попадет». Ему действительно довольно-таки часто попадало, и Владимир Андреевич крас-

нел и пыхтел, шептал молитвы и старался не попадаться на глаза адмиралу, когда только это было возможно. Он малодушно прятался за мачту во время авралов, избегал выходить наверх, если наверху был «глазастый дьявол», за обязательными обедами у него не открывал рта, испытывая робость и смущение; во время вспыльчивых его припадков, когда адмирал, случалось, бушевал наверху, топтал ногами фуражку и прыгал на палубе, словно бесноватый, грозя повесить или расстрелять какого-нибудь мичмана или гардемарина, которого через час-другой звал к себе в каюту и дружески угощал, — в такие минуты Владимир Андреевич, совсем не понимавший натуры этого беспокойного адмирала и привыкший бояться всякого начальства, положительно трепетал и, по словам зубоскалов мичманов, тотчас же заболел *febris gastrica* [1].

— И боится же наша тетка Авдотья адмирала! — смеялись, бывало, матросы на баке, когда речь заходила о лейтенанте.

— Робок очень, и нет в ем никакой флотской отважности... Совсем береговой человек! — объяснял боцман трусливость Влади-

мира Андреевича.

— От этого самого он и суетится без толку на вахте... Опасается, значит, адмирала! — замечали старые матросы.

Посмеивались над ним и в кают-компании за эту трусость, и мичмана советовали взять да и «развести» [2] с адмиралом, но Владимир Андреевич только отмахивался безнадежно руками и решительно изумлялся, что были такие смельчаки, которые «разводили» с адмиралом, и что это проходило им совершенно безнаказанно. Сам он об этом не решался и подумать и молил только бога, как бы поскорей вернуться в Россию и получить там спокойное береговое местечко, а не то — какой-нибудь маленький парходик или канонерскую лодку в командование и находиться подале от всяких адмиралов и вообще от высшего начальства.

К этим далеко не честолюбивым мечтаниям присоединялась всегда и мечта о подруге жизни в образе какой-нибудь недурненькой женщины — брюнетки — или блондинки, это было для женолюбивого Владимира Андреевича безразлично, — но только обязательно

не худощавой. Худощавых дам он не одобрял, не предвидя тогда, что судьба даст ему в жены именно худощавую, да еще какую!

На баке только что пробило четыре склянки. Был седьмой час в начале, как из-под юта, где находилось адмиральское помещение, лениво выползла маленькая круглая фигурка курносого человека лет тридцати, с краснощеким, заспанным и несколько наглым лицом, опущенным черной кудрявой бородкой, в люстриновом пиджаке поверх розовой ситцевой сорочки, в белых штанах и в стоптанных туфлях, надетых на грязные босые ноги.

Этот единственный на корвете «вольный», как зовут матросы всякого невоенного, был адмиральский лакей Васька, продувная бестия из кронштадтских мещан, ходивший с адмиралом во второе кругосветное плавание, порядочно-таки обкрадывавший своего холостяка барина и пускавшийся на всякие обороты. Он давал гардемаринам под проценты деньги, снабжал их по баснословной цене русскими папиросами и вообще человек был на все руки.

При виде адмиральского камердинера с

металлическим кувшинчиком в руке все приятные воспоминания и вообще неслужебные мысли разом выскочили из головы Владимира Андреевича, лицо его тотчас же приняло тревожно-озабоченное выражение и взгляд сделался еще более ошалелым.

— Васька! — тихо окликнул он адмиральского камердинера, когда тот был у мостика.

Васька галантливо приподнял с черноволосой кудластой головы красную шелковую жокейскую фуражку — предмет его особенного щегольства перед баковой аристократией — и приостановился, зевая и щуря на солнце свои бегающие, как у мыши, плутовские карие глаза.

— Встал? — беспокойно спросил Владимир Андреевич, значительно понижая свой визгливый тенорок, и мотнул головой по направлению адмиральского помещения.

— Встает... Только что проснулся. Сегодня бреемся. Вот за горячей водой иду! — развязно отвечал Васька, взглядывая на вахтенного начальника с снисходительной улыбкой, которая, казалось, говорила: «И чего ты так боишься адмирала?»

И, словно желая успокоить Снежкова, прибавил фамильярным тоном, каким позволял себе говорить с некоторыми офицерами:

— Раньше как через полчаса, а то и час, он не выйдет, Владимир Андреевич. При качке-то скоро не выбреешься, какой ни будь нетерпеливый человек. На прошлой неделе щеки-то порезал от своей скорости.

И Васька направился далее, умышленно замедляя шаги.

«Я, дескать, не очень-то спешу для адмирала, которого вы все боитесь!»

Владимир Андреевич немедленно засуетился. Он первым делом озабоченно поднял голову, взглядывая на верхние паруса. Теперь ему казалось, что марсели и брамсели не вытянуты как следует, и он скомандовал подтянуть шкоты. А затем понесся на бак осмотреть кливера.

— Кливера не до места, не до места... Как же это? — с жалобным упреком и с выражением страдания на лице обратился Владимир Андреевич к вахтенному гардемарину, который с самым беспечным видом коротал вахту, разгуливая по баку.

— Кажется, кливера до места, Владимир Андреич.

— Вам кажется, а мне попадет!.. Не вам, а мне!.. Адмирал увидит и... Скорей вытяните кливер-шкоты...

— Есть! — отвечал гардемарин.

— Да снасти... приберите их... Боцман! ты чего смотришь, а?

Подскочивший с засученными до колен штанами пожилой боцман, который с раннего утра усердствовал, наблюдая за чисткой и надрывая горло от ругани, докладывал успокоительным тоном:

— Уборка еще не окончена, палуба мокрая, ваше благородие! Как, значит, справимся с уборкой, тогда и снасть уберем, ваше благородие!

— А ты поторапливай уборку, поторапливай, братец!

— Есть, ваше благородие!

В официально-почтительном взгляде боцмана скользнула улыбка. И он подумал: «И с чего ты зря суетишься?»

— И вообще... — снова начал было Владимир Андреевич.

Но так как он решительно не знал, что еще «вообще» сказать, то, оборвав фразу, побежал назад, покрикивая занятым чисткой матросам:

— Пошевеливайся, братцы, пошевеливайся!

Матросы усмехались и вслед ему говорили:

— Видно, адмирал скоро выйдет, что тетка Авдотья забегала.

Поднявшись на мостик, Владимир Андреевич зашагал, тревожно осматриваясь вокруг. Он то и дело подходил к компасу, чтобы посмотреть, по румбу ли идет корвет, взгляды-вал на надувшийся вымпел, чтобы удостовериться, не зашел ли ветер, — словом, обнаруживал тревожное усердие. И когда на мостик поднялся старший офицер, который с раннего утра тоже носился по всему корвету как оглашенный, присматривая за общей чисткой, Владимир Андреевич поторопился ему сообщить, что адмирал встает.

— Бриться только будет! — прибавил он.

— Ну и пусть себе встает! — равнодушным, по-видимому, тоном проговорил длинный,

высокий и худой старший офицер, с очками на близоруких глазах. — Придаться ему, кажется, не за что... У нас все, слава богу, в порядке... А впрочем, кто его знает?.. С ним ни за что нельзя ручаться!.. И не ждешь, за что он вдруг разнесет! — с внезапным раздражением прибавил старший офицер.

— То-то и есть! — как-то уныло подтвердил Владимир Андреевич.

Расставив свои длинные ноги, старший офицер поднял голову и стал оглядывать паруса и такелаж.

— Что, кажется, стоят хорошо, Михаил Петрович? Все до места? Реи правильно обрасоплены? — спрашивал Снежков с тревогой в голосе, ища одобрения такого хорошего моряка, как старший офицер.

— Все отлично, Владимир Андреич... Не волнуйтесь напрасно, — успокоил его старший офицер после быстрого осмотра своим зорким морским взглядом парусов... — А ветерок-то славный... Ровный и свеженький... Как у нас ход?

— Десять узлов.

— С таким ветерком мы скоро и в Нагасаки

прибежим... А «Голубчик» лучше нашего ходит... Ишь, брамсели убрал, а все впереди идет! — не без досады проговорил старший офицер, ревнивый к достоинствам других судов и точно оскорбленный за отставание «Резвого».

Он взял бинокль и жадным взглядом впился в «Голубчика», надеясь увидеть какую-нибудь неисправность в постановке парусов. Но напрасно! На «Голубчике», стройном, изящном и красивом, все было безукоризненно, и самый требовательный глаз не мог бы ни к чему придраться. Недаром и там старший офицер был такой же дока и такой же ученик беспокойного адмирала, как и Михаил Петрович.

Старший офицер несколько минут еще любовался «Голубчиком» и, отводя бинокль, промолвил:

— Славный клиперок!

Владимир Андреевич совсем чужд был этим морским ощущениям и, равнодушно взглянув на «Голубчика», спросил:

— А долго мы простоим в Нагасаки, Михаил Петрович?

— Возьмем уголь и уйдем.

— В Австралию?

— Говорят, что в Австралию.

— Разве это не наверное?

— Да разве с нашим адмиралом знаешь наверное, куда кто пойдет?.. Держи карман! Я вот в первое свое плавание у него в эскадре вполне был уверен, что пойду в Калькутту, а знаете ли куда пошел?

— Куда?

— В Камчатку!

— Как так?

— Очень просто. Поревел меня с одного клипера на другой — и шабаш! Вы, Владимир Андреевич, его, видно, еще не знаете... Он любит устраивать сюрпризы! — засмеялся старший офицер.

И вдруг вспомнив, что еще не осмотрел машинного отделения, сорвался внезапно с мостика, стремглав сбежал по трапу и, озабоченный, скрылся в палубе.

Неморяк, который увидал бы в этот момент старшего офицера, наверно, подумал бы, что он сошел с ума или что на судне несчастье.

Тем временем Васька, наполнив кувшинчик кипятком и сказав коку, чтобы готовил кофе и поджаривал сухари, довольно беспечно беседовал у камбуза с молодым писарьком адмиральского штаба Лаврентьевым, который был первым щеголем, понимал деликатное обращение, знал несколько французских и английских фраз, имел носовой платок и носил на мизинце золотое кольцо с бирюзой.

Казалось, Васька мало заботился о том, что адмирал ждет горячей воды, и рассказывал приятелю-писарю о том, что за чудесный этот город Сидней, в котором он был с адмиралом в первое плавание.

— Прежде в нем одни каторжники жили, вроде как у нас в Сибири, а теперь, братец ты мой, как есть столица! Всего, что хочешь, требуй!.. И театры, и магазины, и конки по улицам, и сады, одно слово — видно образованных людей. И умны эти шельмы, англичане. Ах, умны! Особенно насчет торговли... Первый народ в свете!

Адмиральский кок (повар), пожилой матрос, тоже ходивший с адмиралом второй раз в плаванье, заметил:

— Смотри, Василий, адмирал тебя ждет... Как бы не осерчал!

— Подождет! — хвастливо кинул Васька и продолжал: — Слышно, что из Нагасак беспрерывно в Сидней пойдём... Так уж я тебе, Лаврентьев, все покажу... Прелюбопытно... А барышни — один, можно сказать, восторг!..

— Ой, Василий... Иди-ка лучше до греха... А то шаркнет он тебя этим самым кувшином! — снова подал совет повар.

— Так я его и испугался!.. Я — вольный человек. Чуть ежели что: пожалуйста расчет, и адью! В первом городе и уйду, если будет мое желание... И то, слава богу, потрафляю ему... Знаю его характер. Другой небось на него не потрафит... И он это должен понимать... Без меня ему не обойтись!

— Положим, ты вольный камардин, а все ж таки побереги свои зубы... Сам, кажется, знаешь, каков он в пылу... Не доведи до пыла... Беги...

— Ступай в самом деле, Василий Лукич! —

проговорил и писарь.

Советы эти были своевременны, и Васька отлично это чувствовал. Но желание поломаться и показать, что он нисколько не боится, было так сильно, что он продолжал еще болтать и не представлял себе, что адмирал, в ожидании горячей воды, уже бешено и порывисто, словно зверь в клетке, ходит в одном нижнем белье по большой роскошной каюте, бывшей приемной и столовой, и нервно поводит плечами.

Еще одна-другая раздражительная минута напрасного ожидания, как дверь адмиральской каюты приоткрылась, и на палубе раздался резкий, металлический, полный энергия и закипающего гнева голос:

— Ваську послать!

Владимир Андреевич невольно вздрогнул, словно лошадь, получившая шпоры, и торопливо, во всю силу своих легких крикнул визгливым тенорком:

— Ваську послать!

— Ваську посла-а-ть! — раздался зычный голос боцмана в палубу и долетел до ушей Васьки.

— Дождался! — иронически бросил кок.

— Ишь ведь, не потерпит секунды...
Черт! — проговорил Васька и уж далеко не с прежним видом гоголя выскочил наверх и понесся к адмиралу с кувшином в руках, придумывая на бегу отговорку.

Едва только красная жокейская фуражка исчезла под ютом, как через отворенный и прикрытый флагом люк адмиральской каюты послышались раскаты звучного адмиральского голоса, прерываемые тоненькой и довольно нахальной фистулой Васьки.

— Мерзавец! — донесся заключительный аккорд, и все смолкло.

Адмирал начал бриться.

Минут через двадцать адмирал, свежий, с гладковыбритыми мясистыми щеками, в черном люстриновом сюртуке, с белоснежными отложными воротничками сорочки, открывавшими короткую загорелую шею, легкой поступью вошел на мостик и в ответ на поклон смутившегося Владимира Андреевича снял фуражку, с приветливой улыбкой протянул широкую руку и весело проговорил:

— С добрым утром, Владимир Андреич!

И, бросив довольный взгляд на широкий простор океана, прибавил:

— А ведь мы славно идем, не правда ли?

— Отлично, ваше превосходительство! Десять узлов!

— И погода чудесная... Позвольте-ка бинокль.

Владимир Андреевич передал бинокль, и адмирал, подойдя к краю мостика, стал смотреть на шедший впереди и чуть-чуть на ветре клипер «Голубчик».

«Он в духе сегодня!» — радостно подумал Владимир Андреевич, поглядывая на беспкойного адмирала.

IV

Полубовавшись клипером, адмирал отвел глаза от бинокля и, передав его вахтенному офицеру, видимо удовлетворенный, стал смотреть в океанскую даль.

Он снял белую с большим козырем фуражку, подставив ветру свою большую черноволосую, заседавшую у висков, коротко остриженную голову, и с наслаждением вдыхал утреннюю прохладу чудного морского воздуха.

Это был плотный и крепкий человек небольшого роста, лет сорока пяти-шести, кряжистый, широкий в костях, с могучей грудью, короткой шеей и цепкими, твердыми, толстыми «морскими» ногами. Его смугловатое, подернутое налетом сильного загара скуластое лицо с резкими и неправильными чертами широковатого носа, мясистых «бульдозных» щек и крупных губ с щетинкой подстриженных «по-фельдфебельски» усов дышало силой жизни, смелостью, избытком энергии беспокойной и властной натуры и той несколько дерзкой самоуверенностью, ко-

торая бывает у решительных, привыкших к опасностям людей. Большие, круглые, как у ястреба, слегка выкаченные черные глаза, умные и пронзительные, блестели, полные жизни и огня, из-под густых, чуть-чуть нависших бровей, лоб был большой и выпуклый.

И в этом энергичном лице, и во всей этой коренастой, дышавшей здоровьем фигуре чувствовалось что-то стихийное, сильное и необузданное, и в то же время доброе и даже простодушное, особенно во взгляде, мягком и ласковом, каким в настоящую минуту адмирал смотрел на море.

Глядя на этого человека даже и в эти спокойные минуты созерцания, никто не подумал бы усомниться в заслуженности составившейся о нем во флоте репутации лихого и решительного, знающего и беззаветно преданного своему делу моряка и деспотически страстного, подчас бешеного человека, служить с которым не особенно покойно. Недаром же в числе многочисленных кличек, которыми наделяли адмирала в Кронштадте, была и кличка «чертовой перечницы».

Прошрое его было, разумеется, хорошо из-

вестно среди моряков.

Все знали, что он был «отчаянный» кадет и вышел из морского корпуса в черноморский флот, куда выходили по преимуществу молодые люди, не боявшиеся строгой службы, где и получил основательное морское воспитание в школе Лазарева, Корнилова и Нахимова. Любимец двух последних адмиралов и восторженный их поклонник, он выдвинулся в Крымскую кампанию, приобретя известность исполнением всяких опасных поручений и особенно своими смелыми выходами на небольших пароходах из блокируемого неприятельским флотом Севастополя и дерзким крейсером в Черном море, полном неприятельских судов.

Корнев — так звали начальника эскадры — делал блестящую по тем временам карьеру, тем более для человека без всяких связей и протекции. Вскоре после войны он, флигель-адъютант, сорока лет от роду, был произведен в контр-адмиралы и уж второй раз командовал эскадрой Тихого океана.

Когда полгода тому назад, совершенно неожиданно, Корнев приехал на смену своего

предместника, умного и образованного адмирала Н., но совсем не моряка в душе, почти чуждого подчиненным, державшего себя от них в отдалении и обращавшегося со всеми с любезной и брезгливой холодностью служебного баловня, богача и аристократа, — все тотчас же почувствовали нового начальника эскадры и его беспокойную натуру.

Эскадра оживилась, как оживляется добрый конь, почуявший опытного и смелого всадника. Все старались подтянуться. Между судами появилось соревнование. Офицеры и матросы сразу почувствовали в новом адмирале не только начальника, но страстного моряка и знающего ценителя. Он взбудоражил всех, приподнял самолюбие и как-то осмыслил службу, этот беспокойный адмирал, требуя не одного только исполнения обязанностей, а, так сказать, всей души.

Ураганом пронесся он, явившись на свой флагманский корвет «Резвый», когда после обычного опроса у команды претензий узнал, что ревизор плохо кормит людей и не все выдает им по положению. Командир и ревизор были «разнесены вдребезги». Ревизору было

приказано немедленно «заболеть» и ехать в Россию. «Жаркую баню» пришлось выдержать и одному юнцу гардемарину, который наказал розгами матроса, не имея на то права. Гардемарин был назван «щенком» и переведен на другое судно. И опять досталось капитану, допустившему такой «разврат».

Не прошло и месяца с приезда адмирала, как на эскадре, собравшейся в Хакодате, начались перетасовки.

Адмирал своей властью сменил двух старых, не особенно бравых и энергичных капитанов, решив после знакомства с ними в море, что они «бабы». Предложив им ехать в Россию, он, не желая повредить им, дал о них министру лестные аттестации и объяснил, что хотя они и вполне достойные капитаны, но слабое их здоровье делает их не совсем пригодными к беспокойным океанским плаваниям. Вместо них он назначил двух, относительно молодых, старших офицеров, а на их места — совсем молодых лейтенантов, ходивших с ним в первое его плавание.

После этих перемен адмирал несколько успокоился.

Нечего говорить, что в Петербурге, привыкшем к канцелярским перепискам и к безразличной нерешительности начальников эскадр сделать что-нибудь неудобное высшему начальству, были очень недовольны адмиралом, который так круто и самовольно распоряжается.

Управляющим министерством в то время был адмирал Шримс, почти не бывавший в море, всю жизнь прослуживший в штабах, очень умный человек, известный хорошо морякам, особенно молодым, с которыми он обращался с фамильярной простотой, как веселый балагур и циник, любивший крепкие и пряные словечки. Весьма ревнивый к власти и давно привыкший к ней, он приказал написать Корневу строгое внушение, поставив ему на вид самовластие его распоряжений и молодость и неопытность назначенных им капитанов и старших офицеров. Бумага заканчивалась предписанием впредь не сменять капитанов без его, адмирала Шримса, разрешения.

Эта бумага была получена в Сан-Франциско недели три тому назад.

Адмирал прочитал ее, швырнул на стол, зашевелил скулами и гневно воскликнул, вращая белками:

— Ведь эдакий болван, этот Шримс, хоть, кажется, и умный человек!

Бывший зачем-то в эту минуту в адмиральской каюте флаг-капитан адмирала, худощавый, чистенький и прилизанный молодой белобрысый капитан-лейтенант Ратмирцев, щеголявший изысканными, великосветскими манерами и ханжеством, испуганно взглянул на адмирала, которого боялся больше, чем моря, и в душе презирал за грубые манеры.

Казалось несколько странным, как подобный «придворный суслик», как прозвали гардемарины этого франтоватого и светского капитан-лейтенанта, мог быть флаг-капитаном у такого человека, как беспокойный адмирал.

Но дело объяснялось просто.

Совершенно неспособный к морской службе, трусливый и мямля, Ратмирцев благодаря связям и протекции командовал клипером в эскадре Тихого океана. Долго Корнев не встречал этого клипера, откомандированного в

крейсерство у берегов Приморской области. Но как только адмирал его встретил и проплавал на нем с неделю, он немедленно «убрал» Ратмирцева, предложив ему совершенно неотвественное место флаг-капитана [3], вполне уверенный, что Ратмирцев сам будет проситься скорей в Россию, так что его не придется и «сплавлять».

Адмирал снова взял полученную бумагу, снова прочел и снова воскликнул тоном, не допускавшим ни малейшего сомнения, швыряя бумагу:

— Болван...

Ратмирцев хотел было дипломатически исчезнуть из каюты.

Адмирал заметил это намерение и резко сказал:

— Прошу, Аркадий Дмитрич, подождать минутку.

И, не обращая внимания на присутствие флаг-капитана, продолжал:

— Скотина эдакая: сидит там в кабинете и ничего не понимает...

Ратмирцев только ежился, скандализованый этими выражениями.

«Совсем грубое животное!» — подумал Ратмирцев.

Прошла минута-другая молчания.

— Аркадий Дмитрич!

— Что прикажете, ваше превосходительство? — изысканно-вежливым тоном спросил флаг-капитан, почтительно и очень красиво наклоняя туловище.

— Потрудитесь сегодня же, сейчас, немедленно, — нетерпеливо и резко говорил адмирал, слегка заикаясь и словно бы затрудняясь приискивать слова, — написать приказ по эскадре, что я изъявляю свою особенную благодарность командующим «Забияки» и «Коршуна» за примерное состояние вверенных им судов.

Командующие этими судами были недавно назначенные адмиралом и не утвержденные в звании командиров в Петербурге, о чем просил адмирал.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да напишите приказ, Аркадий Дмитрич, в самых лестных выражениях... И не забудьте-с, Аркадий Дмитрич, копию с приказа вместе с другими бумагами послать в Петербург.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Пусть там прочтут-с! — сказал, усмехнувшись, адмирал, видимо, довольный сделанным им распоряжением и начинавший «отходить».

Он передал флаг-капитану несколько бумаг из Петербурга и приказал приготовить ответы, какие нужно.

— А на эту я сам отвечу! — значительно произнес адмирал, словно бы угрожая кому-то.

И, отложив бумагу в сторону, адмирал уставил свои большие круглые глаза, еще сверкавшие гневным огоньком, в почтительно-равнодушное, бесцветное, белобрысое лицо флаг-капитана.

Судя по этому взгляду, тот ждал: не будет ли еще каких приказаний?

Но вместо этого адмирал после долгой томительной паузы совершенно неожиданно произнес:

— Знаете ли, что я вам скажу, любезнейший Аркадий Дмитрич... Ужасно сильно вы душились... Какие у вас это духи? — прибавил, видимо, сдерживаясь адмирал я думая про се-

бя: «И какой же ты вылощенный дурак!»

Вот что хотел он ему сказать этим вопросом о духах.

Ратмирцев, несколько изумленный и сконфуженный, пробормотал:

— Опопонакс, ваше превосходительство!

— Опопонакс?! Отвратительные духи-с! Можете идти, Аркадий Дмитрич, и потрудитесь сию минуту написать приказ! — прибавил адмирал.

Вслед за тем адмирал принялся за письмо к Шримсу. Письмо было довольно убедительное.

Корнев извещал, что за несколько тысяч миль довольно трудно испрашивать разрешений и что, отвечая за вверенную ему эскадру, он должен быть самостоятельным и считает себя вправе сменять офицеров по своему усмотрению, а с завязанными руками командовать эскадрой сколько-нибудь достойно уважающему себя начальнику решительно невозможно, с чем, разумеется, согласится всякий адмирал, бывший в плаваниях, — подпустил Корнев шпильку своему начальнику, никогда не командовавшему ни одним суд-

ном. Что же касается до молодости назначенных им капитанов, то он «позволяет себе думать», что молодые, способные и энергичные капитаны несравненно полезнее старых, бездеятельных или болезненных и что в деле выбора людей на должности, требующие знания и отваги, решительности и находчивости, нельзя сообразоваться с летами. Такие знаменитые учителя, как Лазарев и Корнилов, в назначениях руководились не годами службы, а морскими качествами, и «я сам имел честь командовать в Черном море шкуной в лейтенантском чине». Из посланной при рапорте копии с приказа по эскадре его превосходительство убедится, что назначенные им командиры вполне достойные и лихие моряки, и он считает за честь иметь таких капитанов в эскадре. В заключение адмирал снова просил утвердить их в звании командиров, если только высшему морскому начальству угодно, чтоб он командовал эскадрой, и прибавлял, что он и впредь будет действовать, руководствуясь правами, предоставленными уставом начальнику эскадры в отдельном плавании, и принимая на себя ответ-

ственность за сделанные им распоряжения, клонящиеся к поддержанию чести русского флага.

В том же письме адмирал сообщал, что вследствие полной неспособности в морском деле капитан-лейтенанта Ратмирцева, более годного для береговой службы, чем для плаваний, он почел своим долгом отрешить названного офицера от командования клипером и назначить его временно своим флаг-капитаном, хотя до сих пор он и обходился без такового, довольствуясь одним флаг-офицером, а для приведения позорно запущенного клипера в должный порядок и вид, соответствующий военному судну, он назначил командующим лейтенанта Осоргина, вполне достойного офицера, бывшего старшим офицером на лучшем судне эскадры, на клипере «Голубчик».

Нетерпеливый адмирал в тот же день отправил это письмо, после чего значительно повеселел и, съехавши на берег в своем статском, неуклюже сидевшем на нем платье и с цилиндром на голове, похожий скорей на какого-нибудь принарядившегося мелкого ла-

вочника, чем на адмирала, — зазвал двух гардемаринов, которые не успели юркнуть от него в другую улицу, в гостиницу, угостил их обедом, хотя они и клялись, что только что пообедали, и на обедом рассказывал им, какие доблестные адмиралы были Лазарев, Нахимов и Корнилов. И, что всего удивительнее, адмирал ни разу не разнес своих гостей — ни за то, что они ели рыбу с ножа, ни за то, что они наливали белое вино в стаканы, а не в рюмки, ни за то, что не знали знаменитого приказа Нельсона пред Трафальгарским сражением, ни за то, что до сих пор не написали заданного им сочинения о том, как взять Сан-Франциско и разгромить тремя клиперами и двумя корветами предполагаемую на рейде неприятельскую эскадру, значительно превосходящую своими силами.

И когда наконец адмирал отпустил гардемаринов, они радостно выбежали на улицу и оба в один голос сказали, весело смеясь:

— Глазастый черт сегодня штилюет!

Когда в Петербурге было получено письмо Корнева, адмирал Шримс проговорил, обращаясь к своему директору канцелярии:

— Посмотрите, что пишет нам башибузук... Артачится...

И с тонкой улыбкой умного человека заметил:

— И ничего ведь не поделаешь с этим сумасшедшим «брызгасом»! Черт с ним! Пусть себе лучше сатрапствует вдали, а не пристаёт здесь с разными затеями... Ведь у Корнева вечно перец под хвостом! — смеясь, прибавил Шримс, зная благоволение, каким пользуется Корнев у высокопоставленного генерал-адмирала, и ревнуя к нему. — Утвердите всех назначенных им командиров... Пусть они там все беснуются со своим адмиралом!

И адмирал Шримс залился густым веселым хохотом.

Пробило шесть склянок.

Адмирал перестал любоваться морем и, надев фуражку, поднял глаза на рангоут.

Лейтенант Снежков, следивший за каждым шагом адмирала, тоже возвел очи, чувствуя душевное беспокойство.

— А я на вашем месте, Владимир Андреевич, давно бы прибавил парусов, а то срам-

с... мешаем «Голубчику» нести брамсели!

— Какие прикажете поставить, ваше превосходительство? — испуганно спросил вахтенный лейтенант.

— Сами разве не знаете-с? — внезапно закипая, воскликнул адмирал. — А еще морской офицер! Ставьте лиселя с правой и топселя!..

Снежков засуетился и закомандовал.

Суетливость его, видимо, раздражала беспокойного адмирала. Уже заходили скулы и стали подергиваться плечи его превосходительства, но быстро исполненный маневр постановки парусов вернул ему прежнее хорошее расположение духа.

Корвет чуть-чуть прибавил ходу, и адмирал с самым приветливым видом сказал, чувствуя потребность ободрить смущенного лейтенанта:

— Вот видите, любезный друг, мы на четверть узла и прибавили ходу...

Этот «любезный друг» не привел, однако, лейтенанта Снежкова в радостное настроение. И он, как и другие, очень хорошо знал, что у беспокойного адмирала вслед за «любезным другом» мог появиться такой нелюбез-

ный окрик, от которого у тетки Авдотьи положительно душа уходила в пятки.

— А что, гардемарины встают?

— Не знаю, ваше превосходительство.

— Да что вы меня титулуете?.. Я сам знаю, что я его превосходительство... Пошлите-ка будить гардемарин... Нечего им валяться... Такое прекрасное утро, а они спят.

Гроза офицеров, беспокойный адмирал особенно школил юнцов гардемарин, относительно которых был не только требовательным адмиралом, но, так сказать, и гувернером-педагогом, заботившимся не об одной морской выучке, а также о пополнении общего образования, довольно скудно отпущенного морякам морским корпусом.

Нечего и говорить, что шесть гардемарин и три штурманские кондуктора, бывшие на флагманском корвете, не очень-то были признательны своему надоедливому учителю, и, признаться, надоел он им таки порядочно.

И зато каких только прозвищ они ни придумывали адмиралу и каких только стихов ни сочиняли про него!

Когда адмирал спустился с мостика и заходил по шканцам, в открытый люк гардемаринской каюты до него доносился веселый говор встающих молодых людей. И вдруг чей-то тенорок запел:

*Не пора ль рассказать.
Как пришлось нам ждать
Адмирала.*

«Про меня!» — подумал, усмехнувшись, адмирал, поворачиваясь от люка.

Приблизившись снова к люку, он услышал уже следующий куплет:

*Всюду тыкал свой нос,
Задавая «разнос»,
Черт глазастый!*

«Ишь... „черт глазастый“! Это непременно Ивков сочинил... Дерзкий мальчишка!» — мысленно говорил адмирал, чувствовавший некоторую слабость к этому «дерзкому мальчишке», которого он уж грозил раз повесить и раз расстрелять.

— Пожалуйста кофе кушать! — доложил, приблизившись, Васька недовольным, обиженным тоном, представляясь, что дуетя на барина.

— Хорошо.

В гардемаринской каюте мгновенно наступила тишина. Чья-то голова высунулась в люк и скрылась.

— Пожалуйста, а то кофе остынет. Меня же станете ругать. Опять я останусь виноватым, — говорил Васька.

— Иду, иду... Не ворчи, каналья.

Адмирал отправился в каюту.

В это время на палубе показался гардемарин Ивков.

Адмирал обернулся и, увидав Ивкова, поздравил его.

Тот подошел и приложил руку к козырьку фуражки.

— Доброго утра, Ивков, — проговорил адмирал, подавая гардемарину руку и весело и ласково поглядывая на него... — Вы чай пили?

— Пил, Иван Андреевич.

Адмирал как будто был недоволен, что Ивков пил чай, и сделал гримасу.

— Ну, все равно... Покорнейше прошу ко мне кофе пить... Надеюсь, не откажетесь? — любезно предложил адмирал.

«Черта с два откажешься!» — подумал Ивков, отлично зная, что просьба адмирала была равносильна приказанию.

Бывали примеры! Однажды гардемарин,

обиженный на адмирала, который «разнес» его утром, ответил Ваське, явившемуся в тот же день передать адмиральское приглашение к обеду, что он не может быть, — так была история!

Немедленно гардемарина потребовали наверх к адмиралу.

— Почему вы не можете быть, любезный друг? — осведомился адмирал.

Гардемарин не мог придумать удовлетворительного объяснения. Сказаться больным было невозможно — у него был предательски здоровый вид. И он угрюмо молчал.

— Быть может, не расположены? — предложил коварный вопрос адмирал, уже начинавший ерзать плечами.

— Не расположен, — отвечал гардемарин.

Адмирал тотчас же вспыхнул:

— Не расположены-с?! Он не расположен! Да как вы смеете быть не расположены идти обедать к адмиралу, а?.. Вы полагаете, что мне очень приятно видеть такого невежу у себя за столом и я поэтому вас пригласил?.. Скажите пожалуйста!». Я вас зову обедать по службе, и вы не смеете отказываться! Поня-

ли? К шести часам быть к обеду! — резко оборвал адмирал.

После такого, не особенно любезного, служебного характера приглашения пришлось, разумеется, явиться к обеду, иначе, того и гляди, беспокойный адмирал приказал бы силою привести смельчака, который вздумал бы упорствовать в отказе.

К тому же адмирал любил за обедом знакомиться, так сказать, более интимно с подчиненными, любил гостей у себя за столом и был гостеприимным и радушным хозяином, пока не становился бешеным адмиралом. Каждый день у него, кроме штабных — флаг-капитана и флаг-офицера — да командира, обедали вахтенный офицер, вахтенный гардемарин, стоявшие на вахте с четырех до восьми часов утра, и по очереди старший офицер, штурман, механик, артиллерист и доктор.

Недавняя история с Лукьяновым быстро пронеслась в голове Ивкова.

И он, поблагодарив за приглашение и мысленно проклиная его, не особенно веселый, с понуренным видом влопавшегося человека, вошел вслед за адмиралом в его приемную и

вместе столовую.

Это была огромная, роскошная, полная света каюта, отделанная щитами из красного дерева, с небольшим балконом за кормой, в раскрытые двери которого, словно в рамке, виднелся океан и голубое высокое небо. Ковер во всю каюту, диван вокруг стен, мягкая мебель, качалки, библиотечный шкаф и большой стол посредине — все это было роскошно и солидно. Двери по бокам вели в кабинет, спальню, уборную и ванную этого комфортабельного адмиральского помещения.

— Эй, Васька! Еще чашку! — крикнул адмирал, подходя к небольшому столу в глубине каюты, у дивана, накрытому белоснежной скатертью. — Садитесь, любезный друг, — обратился он к Ивкову, опускаясь на диван.

На столе аппетитно красовались свежие, только что испеченные вкусные булки и сухари, тарелочки с ломтиками холодной ветчины и языка, сыр, масло и банка с консервированными сливками.

Васька подал две большие чашки горячего кофе; адмирал сам положил в обе чашки сливок, размешал и, подавая одну чашку Ивкову,

промолвил:

— Кофе Васька хорошо варит...

Он принялся за кофе, заедая его бутербродами. Вид вкусных яств соблазнил и гардемарина, хотя он и пил только что чай.

— Кушайте, кушайте на здоровье, Ивков... Быть может, вы любите печенье?.. Эй, Васька! Подай нам печенье!..

Несколько минут прошло в молчании. Адмирал кончил свою чашку и приказал Ваське подать Ивкову другую.

— Благодарю, Иван Андреевич, я больше не хочу.

— Выпейте... Ведь вы у себя такого кофе не пьете...

— Мы чай пьем.

— То-то и есть. Васька, налей!

— Я, право, не хочу более, Иван Андреевич. Разрешите не пить! — просил, улыбаясь, Ивков.

— Ну, как хотите. Васька, не наливай и убери со стола!

Адмирал вынул портсигар и протянул его Ивкову.

Гардемарин, давно уже пробавлявшийся

манилками и изредка позволявший себе полакомиться папиросками, покупая их за баснословно дорогую цену у Васьки (он запасся табаком и делал хороший гешефт, продавая их офицерам), разумеется, не отказался и закурил отличную душистую адмиральскую папироску, с наслаждением затягиваясь. Закурил и адмирал.

Попыхивая дымком, он уставил на Ивкова свои кроткие, слегка задумчивые теперь глаза и мягко и ласково проговорил:

— Смотрю я на вас, Ивков, и вспоминаю свою молодость, вспоминаю вашего батюшку и вашего покойного брата. Он ведь мой лучший друг был... с корпуса дружили... Прекрасный морской офицер был ваш брат... Его и Владимир Алексеевич Корнилов ценил, а Владимир Алексеевич не ошибался никогда. И батюшка ваш в свое время славился как лихой адмирал. Крутенок только был. Мы, тогда мичмана, боялись его, как огня.

В небольших, бойких и живых карих глазах Ивкова блеснула улыбка.

«И ты тоже бешеный. И тебя, брат, боялся!» — подумал он.

— А вас, Петя, я вот каким маленьким знал! — прибавил нежным тоном беспокойный адмирал, хорошо знавший всю семью Ивкова.

Это фамильярное «Петя» и этот ласковый, интимный тон, по-видимому, были не особенно приятны гардемарину, и он не только не был этим тронут, но счел долгом принять необыкновенно серьезный и строгий вид: «Не размазывай, дескать!»

Совсем еще юный, почитывавший умные книжки и исповедовавший самые крайние мнения, он мечтал по возвращении в Россию «наплевать» на службу и «служить» народу — как, он и сам хорошенько не знал. Нечего и говорить, что он старался держать себя подальше от адмирала и его любезностей и часто в кают-компании и в кругу товарищей гардемаринов зло подсмеивался над адмиралом, отлично подмечая недостатки, слабости и смешные его стороны, и еще более над теми «трусами» и «льстецами», которые выслушивают его дерзости и лебезят пред ним, и изливал немало гражданских чувств и остроумия в своих стихотворениях на адмирала. Пользо-

ваться чьей-нибудь протекцией он, конечно, считал унижительным, злился, когда ему говорили, что Корнев его «выведет», и бывал в восторге, когда выводил адмирала из себя до того, что тот грозился его повесить на нока-рее, во что Ивков ни на секунду не верил. Живой и увлекающийся, задорный, нетерпимый и несколько прямолинейный, он настраивал себя враждебно к адмиралу уже по тому одному, что тот был «начальство», да еще «отчаянный деспот», не понимающий, что все люди равны, и отдавшийся весь исключительно морскому делу, тогда как есть дела поважнее.

И Ивков, признавая в адмирале лихого моряка, все-таки относился к нему неодобрительно, слишком юный, чтобы простить ему его недостатки, оценить его достоинства и вообще понять всю эту сложную и оригинальную натуру.

Только впоследствии, когда он побольше повидал людей и когда жизнь его помяла, он многое простил беспокойному адмиралу и понял его.

Адмирал не замечал этой серьезности Ив-

кова и продолжал:

— И тогда вы были отчаянный мальчишка. Однажды вы со мной проделали злую-таки шутку... Помните?

— Не помню, ваше превосходительство.

Ивков нарочно протитуловал.

— А я так хорошо помню... Пришел как-то вечером я к вам... Целый день был на вооружении и устал... Сестра ваша, Любовь Алексеевна, пела... Я слушал и задремал... И вдруг вокруг меня смех... Я проснулся и что же?.. На голове у меня кивер... Это вы тогда надели...

И адмирал рассмеялся.

Помолчав, он неожиданно прибавил:

— А теперь я глазастый черт? А?.. Это ведь вы все стихи пишете про своего адмирала?..

— Я, ваше превосходительство...

— Очень хотел бы прочесть... Давеча я слышал только два куплета... А их, верно, много?

— Много...

— Так принесите... Любопытно, как вы меня браните... Очень любопытно...

— Вам мои стихи не понравятся, ваше превосходительство...

— Это уж мое дело.

— Что ж, я принесу! — задорно отвечал Ивков, словно бы говоря: «Я тебя не боюсь!»

— Ну, а теперь я вас попрошу, любезный друг, перевести несколько страниц лоции Кергалета... Книга у меня в кабинете... возьмите, а то вы все будете вздором заниматься... стихи писать... Да скажите гардемаринам, чтобы все пришли ко мне в десять часов... читать будем!.. И знаете ли что, Ивков?.. Ведь я очень люблю вас и хотел бы из вас бравого моряка сделать, да и всех ваших товарищей люблю, а вы все ничего не понимаете... Думаете: адмирал сумасшедший школит вас так, чтоб допечь?.. Ну, да после поймете, когда умнее станете! — каким-то пророческим тоном проговорил адмирал.

И с этими словами вышел из каюты.

VI

Тотчас же после подъема флага и обычных утренних рапортов о благополучии корвета во всех отношениях господ офицеры, собравшиеся к подъему флага на шканцах, торопливо спустились в кают-компанию, вполне удовлетворенные сегодня внешним видом адмирала. Казалось, он находился в отличном расположении духа — глаза не метали молний, плечи не ерзали, и руки не сжимались в кулаки, — словом, по всем признакам, ничто не предвещало «шторма» и общих «разносов», начинавшихся обыкновенно кратким, далеко не красноречивым, хотя и энергичным по тону предисловием о том, как завещали служить такие доблестные моряки, как Лазарев, Корнилов и Нахимов.

— А вы, господа, как служите-с?

Этот вопрос был, так сказать, штормовым предвестником. Затем начинался самый «шторм», доходивший иногда до степени «урагана», если вспылчивый гнев адмирала поднимался до высшего предела, когда у Снежкова начинало болеть под ложечкой, а у

некоторых дрожали поджилки и замирали сердца.

Не лишено было благоприятного значения и то обстоятельство, что сегодня на вахте Владимира Андреевича ему ни разу не попало. Недаром же он был весел после вахты, не имел чересчур ошалелого вида и не без некоторой хвастливости рассказывал в кают-компании о любезности и приветливости адмирала, хотя подлец Васька и раздражил его, долго не подавая горячей воды для бритья.

— А я уж, признаться, было струсил. Думал, выйдет он сердитый и разнесет за что-нибудь вдребезги, — говорил с добродушной откровенностью Снежков, намазывая маслом ломоть белого хлеба.

— Нервы у вас, Владимир Андреич, того... слабы, хоть, кажется, бог вас здоровьем не обидел... Ишь ведь разнесло вас как, — заметил худой и поджарый маленький лейтенант Николаев. — Кажется, пора бы привыкнуть... Шесть месяцев мыкаемся с беспокойным адмиралом.

— То-то нервы, должно быть...

— Я вот привык, — продолжал маленький

лейтенант с черными усами и бакенбардами, — и отношусь философски. Пусть себе орет как бешеный. Поорет и перестанет.

— Это вы правильно рассуждаете, — вставил пожилой белобрысый доктор, невозмутимый флегматик, которого, по-видимому, ничто никогда не трогало, не удивляло и не возмущало. — Из-за чего расстраивать себе нервы и лишать себя хорошего расположения духа?.. Из-за того, что у нас адмирал беспокойный сангвиник?.. Не стоит...

— Вам, батенька, хорошо рассуждать... Вы, как доктор, стоите в стороне... Вам что? Вам только завидовать можно! — не без досады промолвил Снежков. — А будь вы в нашей шкуре...

— Остался бы таким же философом, поверьте, господа! — насмешливо бросил с конца стола черноволосый юный мичман Леонтьев, с нервным лицом, бойкими глазами и приподнятой верхней губой, что придавало его лицу саркастическое, слегка надменное выражение.

— Конечно, остался бы! — хладнокровно промолвил доктор.

— И кушали бы адмиральскую ругань? — задорно допрашивал мичман.

— И кушал бы...

— Похвальная философия... очень похвальная... Вообще у нас, господа, слишком много философии терпения и покорности. Вот эта самая философия и плодит таких самодуров, как наш адмирал.

— Ишь какой вы прыткий петушок! Скоро, батенька, упрыгаетесь! — снисходительно заметил доктор.

Но еще не «упрыгавшийся» мичман не обратил на эти слова ни малейшего внимания и, закипая, по обыкновению, необыкновенно быстро, продолжал:

— Я еще удивляюсь нашему башибузуку. Право, удивляюсь. Он еще мало ругается и мало разносит... Он еще церемонится...

— По-вашему, мало? — простодушно удивился Снежков.

— Разумеется, шла. Будь я на месте адмирала да имей дело с такими философами долготерпения...

— Что ж бы с ними сделали? Любопытно узнать, Сергей Александрыч? — иронически

спросил маленький лейтенант.

— Я бы еще не так ругал их... Каждый день унижал бы их человеческое достоинство, тренировал бы их, как лакеев... одним словом... был бы вроде Ивана Грозного! — решительно объявил мичман.

— Это с вашим-то радикализмом?

— Именно с моим радикализмом...

— Зачем же такая свирепость, неистовый Сереженька? — спросил недоумевающий его товарищ.

— А затем, чтобы дожидаться, когда наконец лопнет терпение и пробудится человеческое достоинство у терпеливых философов и мне дадут в морду! — не без пафоса выпалил мичман.

В кают-компании раздался смех. Столь решительный образ действий мафического адмирала ради подъема цивических [4] чувств у подчиненных казался чересчур самоотверженным... Ведь выпалит всегда что-нибудь невозможное этот Леонтьев!

Старший офицер поторопился выйти из своей каюты. Он увидал по возбужденному лицу юного мичмана, что речи его могут при-

нять еще более острый характер, и поспешил дать им другое направление.

А Владимир Андреевич, взглянув на открытый люк и заметив мелькнувшие ноги адмирала, испуганно шепнул, присаживаясь к Леонтьеву:

— Адмирал наверху, а люк-то открыт... Он, не дай бог, слышал, как вы проповедовали... Эх, Сергей Александрыч, не петушитесь вы лучше!

— И пусть слышит! — нарочно громко отвечал Леонтьев... — Он слишком умный человек, чтобы не понимать, что мы сами же создаем из него...

— Не пора ли, господа, прекратить этот разговор. Мы, кажется, на военном судне! — внушительно остановил Леонтьева старший офицер — столько же по чувству соблюдения дисциплины, сколько и из желания оберечь молодого мичмана, к которому он чувствовал некоторую слабость, несмотря на его подчас резкие выходки и горячую пропаганду идей, не совсем согласных с морским уставом и строгой морской дисциплиной.

В нем, в этом горяченьком юнце, вступав-

шем в жизнь с самыми светлыми надеждами вскормленника шестидесятых годов и полном негодования ко всему, что казалось ему не соответствующим его идеалам, Михаил Петрович словно видел отражение самого себя в пору ранней молодости, когда и он, несмотря на суровое время начала пятидесятых годов, волновался, увлекался, негодовал и интересовался не одною службой, как теперь.

Наступило неловкое молчание. Необыкновенно тактичный и любимый офицерами старший офицер очень редко обрывал так резко, как сегодня.

Леонтьев тотчас же смолк, сохраняя, однако, на лице вызывающий вид, точно он в самом деле был тираном адмиралом...

А Снежков не ошибся.

До ушей адмирала действительно донеслась негодующая тирада мичмана, оракула молодых товарищей и гардемарин.

VII

Юные гардемарины, считавшие себя обиженными судьбою за то, что плавают на флагманском корвете, всегда на глазах у адмирала, были несколько удручены вследствие переданного им Ивковым приказа адмирала собраться у него в каюте к десяти часам.

Нечего сказать, приятно!

Опять этот «Ванька-антихрист» (и такой кличкой окрестило адмирала гардемаринское остроумие!) станет донимать чтением. Заставит слушать какую-нибудь историческую книгу (чаще всего Шлоссера), или биографию Нельсона и описание его сражений, или журнальную статью «Современника» или «Русского слова», почему-либо ему понравившуюся, и начнет после беседовать о прочитанном и экзаменовывать, точно школьников, черт его побери!

А то вдруг примется декламировать Пушкина, Лермонтова или Кольцова. Слушай его и не смей засмеяться, когда он войдет в азарт и гаркнет: «Раззудись плечо, размахнись ру-

ка!» — и взмахнет своей широкой мясистой рукой с короткими пальцами.

А главное — нельзя было предвидеть, чем окончатся эти чтения. Случалось, что после самых, по-видимому, мирных занятий литературой адмирал внезапно переходил «на военное положение», разносил и посылал на салинг.

Одна только хорошая сторона была, по мнению господ гардемарин и кондукторов, в этих чтениях и беседах. «Глазастый дьявол», при всех своих допеканиях гардемарин, не был «копчинкой» [5]. Если чтения бывали по вечерам, то к чаю подавалось в обильном количестве английское печенье и разные вкусные булочки, поедаемые молодыми людьми с такой стремительностью, что Васька, адмиральский лакей, с неудовольствием исполнял приказание адмирала «подать еще». Но не столь приятны были эти угощения, как большая коробка папирос, которая ставилась на столе и во время вечерних, и во время утренних чтений. Кури на даровщинку, да еще отличные русские папиросы и сколько хочешь.

Разумеется, гардемарины, давно пробавлявшиеся манилками, широко пользовались правом насладиться душистым табачком (у «глазастого» его много!) и курили не переставая папироску за папироской, словно намереваясь накуриться на целые сутки, по крайней мере. После каждого чтения в большой коробке оставался лишь десяток-другой папирос, так называемых «стыдливых», что приводило Ваську в несравненно большее озлобление, чем уничтожение печений. Он считал себя, и не без некоторого основания, положительно ограбленным гардемаринами, так как они лишали его возможности красть адмиральский табак в неограниченном количестве и вести торговлю папиросами, продавая их по баснословно высокой цене, в более широких размерах. И Васька не раз докладывал адмиралу, что не хватит запаса табаку, ежели адмирал будет угощать ими целую ораву гардемарин, но каждый раз адмирал посылал Ваську к черту и говорил, что запас так велик, что должен хватить.

— А ежели не хватит, значит, ты крадешь, каналья! — прибавлял адмирал.

— Очень мне нужен ваш табак, — отвечал обыкновенно Васька, делая обиженную физиономию... — Я и сам имею запас, слава богу... Мне вашего не надо.

— То-то, оставь только меня без папирос! — значительно произносил адмирал.

Пока в гардемаринской небольшой каюте, в которой помещалось девять человек, шли толки о том, каким чтением дойдет сегодня адмирал и не огорошит ли он приказанием перевести какую-нибудь английскую статейку, — гардемарин Ивков перебирал плоды своей музыки, поспевавшей адмирала, и, выбрав из многочисленных стихотворений два более или менее цензурных, решил, согласно обещанию, показать их сегодня адмиралу. «Пусть не думает, что я испугался. Пусть прочтет».

Адмирал не уходил в каюту, а разгуливал себе по правой (почетной) стороне шканец, к крайнему неудовольствию рыжего мичмана Щеглова, вступившего на вахту с восьми часов, — того самого коварного мичмана, который до последнего времени был чичероне и переводчиком у Владимира Андреевича

Снежкова и поступил так бессовестно после обеда с англичанкой, потерпевшей кораблекрушение.

Тут же на мостике стоял и командир «Резвого», капитан второго ранга Николай Афанасьевич Вершинин, представительный и высокий брюнет лет сорока, с красивым и румяным, добродушным и несколько истасканным лицом, посматривая на адмирала с тою скрытой неприязнью, какую почти всегда питают командиры судов к флагманам, сидящим у них на судах. А этот флагман был еще такой беспокойный!

Выждав несколько минут в ожидании, не будет ли на нынешний день каких-нибудь особенных приказаний, Николай Афанасьевич наконец спустился вниз, к себе в каюту, и, приказав своему вестовому подавать чай, опустился на диван с видом человека, не особенно довольного своей судьбой, и разлегся в ленивой позе.

Это был хороший моряк, знающий свое дело, смелый и находчивый в критические минуты, но ленивый, беспечный и «слабый» капитан, не пользовавшийся большим автори-

тетом у матросов и офицеров и несколько распустивший последних. Он не заботился о корвете, предоставив все бремя работ старшему офицеру, и командовал судном что называется спустя рукава. Наверху он показывался редко и большую часть времени лежал у себя на диване с книгой в руках, и только когда в море свежело и начинался шторм, Вершинин сбрасывал свою лень и по целым часам выстаивал на мостике, спокойный, зоркий и внимательный. Проходила опасность, и он снова скрывался к себе в каюту или заходил в кают-компанию поболтать с офицерами. Большой жуир, он очень любил долгие стоянки в портах, особенно в таких, где можно было найти много развлечений и — главное — хорошеньких женщин, — и в таких портах все время проводил на берегу, почти не заглядывая на корвет, зная, что там неотлучно находится старший офицер Михаил Петрович. На берегу Вершинин кутил, и об его грандиозных кутежах и похождениях ходили целые легенды, не всегда соответствовавшие достоинству командира русского военного судна. Зато целый цветник хорошеньких женщин

разных национальностей оплакивал отъезд такого веселого и щедрого русского капитана и в Шербурге, и в Лисабоне, и в Рио-Жанейро, и в Каптауне, и в Батавии, и в Сингапуре, и в Гонконге. Довольны были заходами в порты и долгими стоянками, конечно, и офицеры, а высшее морское начальство удовлетворялось рапортами Вершинина, объяснявшего свои заходы и долгие стоянки то безотложностью починок, то необходимостью дать «освежиться», как выражаются моряки, команде после бурного перехода. И потому в рапортах Вершинина переходы всегда сопровождались штормами.

Веселый, мягкий и добродушный сибарит, Вершинин не был особенно разборчив в средствах для удовлетворения потребностей своей широкой барской природы, и так как жалованья ему не хватало, то он с легкомыслием слабого, неустойчивого человека подписывал сомнительные счета поставщиков и не брезговал разными «экономиями».

Нечего и говорить, что с прибытием адмирала, да еще такого беспокойного, как Корнев, окончились «веселые дни Аранхуэца». Прихо-

дилось Николаю Афанасьевичу подтянуться, держать ухо востро и не смотреть на каждый порт, как на Капую. Приходилось более заниматься службой, быть деятельным капитаном и выслушивать адмиральские выговоры.

И адмирал и капитан, как две совершенно разные натуры, далеко не симпатизировали друг другу... Только общая им обоим «морская жилка» несколько примиряла их. Тем не менее адмирал не раз уже подумывал, как бы под благовидным предлогом «сплавить» Вершинина, а Николай Афанасьевич, в свою очередь, нередко мечтал о той счастливой минуте, когда беспокойный адмирал пересядет на одно из других судов эскадры и хоть на некоторое время даст вздохнуть.

VIII

Не прошло и четверти часа, как капитан благодушествовал за чаем, закусывая бутербродами с тонкими ломтиками ветчины, как в капитанскую каюту влетел вахтенный унтер-офицер и доложил:

— Вашескобродие! Адмирал приказали в дрейфу ложиться!

«И чаю не даст напиться как следует! И с чего это ему вздумалось вдруг ложиться в дрейф?» — недоумевал Вершинин и, недовольный, что его оторвали от чая, торопливо вышел наверх, застегивая на ходу нижние пуговицы белоснежного жилета, и поднялся на мостик.

— Зачем это в дрейф? — тихо спросил он мичмана Щеглова.

— Не знаю, Николай Афанасьич.

На крьюйс-брам-стеннге уже развевались позывные «Голубчика», и вслед за тем взвились свернутые маленькие комочки и, поднятые до верха мачты ловким движением руки сигнальщика, развернулись пестрыми флагами, обозначившими сигнал: «лечь в дрейф».

В ту же секунду вахтенный мичман крикнул: «Свистать всех наверх!» Через минуту вся команда была наверху, и старший офицер взбегал на мостик.

И как только сигнал был спущен, на корвете и на клипере одновременно началось исполнение маневра: убраны лишние паруса, фор-марсея поставлены против ветра, а грот-марсея по ветру, и минут через восемь оба судна остановились, почти неподвижные, покачиваясь на океанской зыби, в недалеком расстоянии друг от друга.



Адмирал стоял на полуюте, поглядывая в бинокль на «Голубчик». Невдалеке от адмирала находился флаг-капитан Аркадий Дмитриевич, как всегда — чистенький, прилизанный и прифранченный, в своей адъютантской форме, но душившийся после Сан-Франциско уже не опопонаксом, а пачули, которые пока не вызывали еще неудовольствия адмирала. У мачты, около сигнальных книг, разложенных на люке, и вблизи двух сигнальщиков, бывших у сигнальных флагов, стоял, не спуская быстрых бегающих глаз с адмирала, его флаг-офицер, мичман Вербицкий, шустрый и бойкий молодой человек, отлично приспособившийся к характеру беспокойного адмирала к всегда горевший, казалось, необыкновенным усердием. Его неглупое, озабоченное и серьезное в эту минуту лицо замерло в том служебно-восторженном выражении, которое словно бы говорило, что флаг-офицер готов распластаться ради службы и своего адмирала.

И адмирал благоволил к Вербицкому, — что не мешало, конечно, разносить своего флаг-офицера чаще, чем кого-нибудь другого,

благо он был всегда под рукой, — относился к нему с чисто отеческой нежностью и не предвидел, конечно, какой черной неблагодарностью оплатит ему этот шустрый молодой человек впоследствии.

— Аркадий Дмитрич! Прикажите поднять сигнал, что мичман Петров с «Голубчика» переводится на «Резвый».

— Где, ваше превосходительство, состоится перевод — в Нагасаки?

— Кто вам сказал, что в Нагасаки? — резко крикнул адмирал, раздраженный этим, по его мнению, дурацким вопросом, и уставил на «придворного суслика» свои круглые глаза, выражение которых, казалось, говорило: «И какой же ты, братец, дурак!»

— Я полагал, ваше превосходительство...

— А вы не полагайте-с!.. Перевод состоится здесь же, сейчас... Пусть Петров переберется через полчаса...

— Слушаю, ваше превосходительство, — отвечал флаг-капитан, изумленный этим неслыханным переводом с одного судна на другое среди океана.

«Положительно сумасшедший!» — решил

«придворный суслик» и медленно, слегка изгибаясь туловищем, направился к флаг-офицеру передавать адмиральское приказание.

Эта тихая походка, совсем непохожая на ту, быструю и торопливую, почти бегом, какой обыкновенно ходят моряки, исполняя служебные поручения, мгновенно озлила беспокойною адмирала и, так сказать, переполнила чашу его нерасположения к флаг-капитану. Вся его вылощенная, прилизанная худощавая фигура показалась ему донельзя оскорбляющей его морской глаз и понятие о бравом моряке.

— Этакая...

Он, однако, благоразумно воздержался от произнесения весьма нелестного эпитета женского рода и крикнул, точно ужаленный:

— Аркадий Дмитрич! На военных судах не ползут, как черепахи-с, а бегают-с!..

Флаг-капитан рванулся, точно лошадь, получившая шенкеля.

Распоряжение адмирала удивило и капитана, и всех офицеров, не плававших раньше с ним.

И Николай Афанасьевич, оторванный от

чая и бутербродов, сердито недоумевал: к чему это на «Резвый» назначают еще офицера, когда их и так довольно.

Старший офицер скоро разрешил его недоумение.

— От нас кого-нибудь переведут... Он, верно, не решил еще — кого... Смотрите — думает! — проговорил Михаил Петрович, оглядываясь на адмирала.

Действительно, адмирал ходил по юту в каком-то раздумье.

Наконец, видимо, решивши вопрос, он позвал капитана и сказал:

— Лейтенант Николаев переводится на «Голубчик»... Потрудитесь приказать ему через полчаса собрать все свои вещи и быть готовым уехать на баркасе, который придет с «Голубчика».

— Есть! — отвечал капитан.

— Да пока мы лежим в дрейфе, пусть команда выкупается в океане! — прибавил адмирал. — Вербицкий! Сделайте сигнал: команде «Голубчика» купаться!

Когда маленький лейтенант с черными усами узнал о своем переводе, он, несмотря

на всю свою философию и уверения, что привык к адмиральским разносам, был весьма неприятно изумлен и мысленно изругал адмирала, совсем не сообразуясь с правилами морской дисциплины.

Еще бы! Вместо приятной надежды на Сидней и Мельбурн со всеми их удовольствиями — иди в Новую Каледонию... Ах, глазастый черт! А главное, ведь он второй год плавает на «Резвом». Привык и к доброму графу Монте-Кристо, как называли на «Резвом» подчас капитана Николая Афанасьевича, и к славному старшему офицеру, и к сослуживцам, и к каюте, и к Ворсуньке, своему вестовому... И вдруг... Но сердись не сердись, а надо поскорей собираться.

И моряк, которого судьба была так круто изменена беспокойным адмиралом, побежал вниз, в свою каюту, в которой обжился и где все было так удобно прилажено и убрано, и стал с помощью своего вестового Ворсуньки укладываться с тою быстротой и стремительностью, с какими собирают свои пожитки люди, застигнутые пожаром. Сапоги летели к японской вазе, мундир — к сапожным щет-

кам, и многочисленные фотографии хорошенькой пухлой блондинки (не то невесты, не то кузины — это был секрет лейтенанта) — к грязному белью... Разбирать было нечего. Поневоле приходилось профанировать святы чувства («прости, Нюточка!»)... Всего полчаса времени («ах, проклятый брызгас!»). Надо еще покончить кое-какие делишки: получить у ревизора жалованье за месяц и остаток порционных, отдать старшему артиллеристу сорок долларов долгу и получить — хотя и сомнительно, что сейчас получишь, — десять долларов с одного гардемарина... Надо, наконец, проститься с товарищами.

— Вали, вали, Ворсунька!..

— Боязная штучка, ваше благородие, — говорил вестовой, не зная, куда деть изящный веер из перьев, которым Нюточке предстояло обмахиваться в кронштадтском собрании.

— Заверни в бумагу или... куда, в самом деле, положить?.. Клади в треуголку...

— Как бы не повредить штучку... Штучка нежная, ваше благородие.

— Так заверни, Ворсунька, в одеяло... Жаль мне, брат, что я с тобой расстаюсь...

— И мне жалко, ваше благородие... Славу богу, жили с вами хорошо. Обиды от вас не видал...

— И ты мне служил хорошо... Вот возьми себе этот пиджак... и сапоги старые бери... Ах, Ванька-антихрист! Ах, чертова перечница!

— Премного благодарны, ваше благородие! — проговорил вестовой и подумал: «Ишь как он отчесывает адмирала!»

— Счастливец вы, Василий Васильевич, — проговорил Снежков, останавливаясь у порога каюты.

— Покорно благодарю, хорошо счастье! Вы вот все пойдете в Австралию, а я...

— Так зато, подумайте: ведь не будете адмирала видеть... За одно это я охотно пожертвую всякими Австралиями... Ей-богу...

— Вам надо, Владимир Андреич, от нервов лечиться...

— Вам вот смешно... Уж я бром принимаю, а как он заорет...

— *Febris gastrica?*

— То-то и есть... Я бы с восторгом с вами «перепустился» [6].

— Суньтесь-ка к адмиралу... Попросите

его...

— Разве это возможно! — вздохнул Снежков.

— То-то невозможно... И кто решится ему об этом сказать... Наш Монте-Кристо у него не в фаворе... Что, Ворсунька, готово?..

— Сию минуту, ваше благородие...

— Ну, простимся, Владимир Андреич... Жаль мне расставаться с нашей кают-компанией.

Оба лейтенанта обнялись и трижды поцеловались.

Переведенный лейтенант побежал проститься с остальными.

Пока шли сборы, команда купалась.

В море был опущен большой парус, укрепленный к борту веревками со всех четырех углов паруса. В этом громадном мешке шумно и весело плескались голые мускулистые тела с побуревшими от загара лицами, шеями и руками. Выплывать из-за этого мешка было строго воспрещено, чтоб не попасть в чудовищную глотку акулы.

Матросы были очень довольны этим нечаянным купаньем. Куда оно лучше и приятнее,

чем эти ежедневные обливания из брандспойта. И среди скученных тел шли веселые шутки, раздавался смех... Все только находили, что очень тепла вода и нет от нее озноба, как в русских реках и озерах. Кто-то сообщил, что купаться выдумал адмирал, и его за это хвалили. Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру им задает, а матроса жалеет. И прост, — видно, что не брезгует простым человеком...

— Выходи, ребята! Шабаш купаться! — прокричал боцман, получив приказание с вахты.

И матросы один за другим поднимались по выкинутому трапу и, ступив на палубу, словно утки, отряхивались от воды и бежали на бак одеваться.

Адмирал уж начинал обнаруживать нетерпение: он то и дело посматривал на часы и взглядывал, не спускают ли на клипере баркаса. Ужасно копаются... Долго ли мичману собраться?.. Не для того ли он и сделал это перемещение офицеров, чтобы приучить господ офицеров быть всегда готовыми?.. Мало ли какие случайности бывают в море, особенно

в военное время... Пусть привыкают... Пусть знают, что и океан не может служить препятствием...

— Михаил Петрович! — обратился он, переходя с полуяота на мостик, к старшему офицеру.

— Что прикажете, Иван Андреич?

— Нынче у мичманов целые сундуки вещей, что ли? Отчего Петров не едет, а... как вы думаете?

— Еще не прошло получаса, Иван Андреич.

— Когда главнокомандующий приказал мне в Крымскую войну ехать на Дунай, я через двадцать минут уже сидел в телеге, а вы мне: полчаса... Мичману перебраться с судна на судно и... полчаса?..

— Да вы сами назначили этот срок, ваше превосходительство!

— Ну, назначил, а он, как бравый офицер... Ну если бы во время сражения... понимаете... тоже полчаса?

Адмирал не отличался особенным красноречием, и речи его не всегда бывали связны... Вдобавок, во время возбуждения он слегка заикался...

— Во время сражения не надо брать с собой багажа, Иван Андреич...

— Какой у мичмана багаж... Вы, Михаил Петрович, вздор говорите-с...

И адмирал круто повернулся от старшего офицера, к которому очень благоволил, как к отличному моряку...

Уж он в нетерпении стал хрустеть пальцами, сжимая обе руки, как от борта «Голубчика» отвалил баркас и под парусами, то скрываясь в большой океанской волне, то вскакивая на нее, неся к корвету.

Лицо адмирала прояснилось. Баркас шел лихо, и паруса стояли отлично.

«И из-за чего это он каждый день кипятится? Из-за чего никому не дает покоя? — размышлял Николай Афанасьевич, принужденный оставаться наверху, вместо того чтобы кейфовать внизу. — Кажется, и карьера блестящая — человек на виду, всего достиг, чего только можно в его годы, команду спокойно эскадрой, а то нет... всюду сует свой нос, неизвестно для чего переводит в океане офицеров, ссорится с высшим начальством, допекает гардемарин... Чего ему нейметя!»

Так размышлял сибарит Николай Афанасьевич и нетерпеливо ждал: скоро ли окончится вся эта суматоха и он напьется чаю, как следует порядочному человеку.

Баркас пристал к борту, и мичман Петров далеко не с радостной физиономией представился капитану.

— Очень рад служить вместе! — приветливо и добродушно промолвил капитан.

— А вы, господин Петров, отлично шли на баркасе... Здравствуйте... — Адмирал протянул руку. — Только зачем вы так долго собирались?.. Не хотели, что ли, на «Резвый»? — пошутил адмирал.

«Очень даже не хотел!» — говорило кислое лицо мичмана.

— Я, ваше превосходительство, кажется, скоро собрался...

— А мне кажется, что долго-с, — резко проговорил адмирал.

Мичман смутился.

— Надеюсь, вы будете так же хорошо служить на «Резвом», как на «Голубчике»... Мне вас хорошо аттестовал ваш командир... Будем, значит, приятелями! — поспешил под-

бодрить смутившегося мичмана адмирал, только что его оборвавший... — Можете идти.

Когда маленький лейтенант явился откланяться адмиралу, он сказал:

— Прошу не думать, что я перевожу вас по каким-нибудь причинам. Никаких. Считаю вас хорошим офицером... Вам будет небезопасно поплавать на таком образцовом военном судне, как «Голубчик»... С богом, Василий Васильич...

И адмирал крепко пожал его руку.

Через четверть часа оба судна снялись с дрейфа и, поставив все паруса, снова понеслись по десяти узлов в час.

Подвахтенным просвистали вниз, и капитан наконец спустился к себе в каюту и мог основательно заняться чаем.

Ушел к себе и адмирал и через час послал Ваську пригласить к себе господ гардемарин и кондукторов.

Увы, не «промело»!

Они думали, что «прометет», что адмирал после сегодняшнего «дрейфа с сюрпризами» забудет о своем приглашении-приказе (случалось, он забывал, и они, конечно, еще более

забывали), и, следовательно, злосчастливым гардемаринам можно избавиться от собеседования, а тут этот Васька со своей нахальной мордой и с красной жокейской фуражкой в руках... Улыбается, подлец, и с наглой развязностью, фамильярным тоном говорит:

— Не угодно ли, господа, пожаловать к адмиралу. Слезно просит-с. Ждет не дождется!

Надо идти.

Припомнили, кому быть сегодня «жертвами», то есть сидеть по бокам адмирала («жертвами» бывали все по очереди) и чаще других подвергаться экзамену, решили не давать пощады адмиральским папиросам и, приведя свои костюмы и прически в более или менее приличный вид, двинулись из каюты.

Сбитой кучкой, не особенно торопясь, прошли они шканцы, имея «жертв» в авангарде, и за минуту еще жизнерадостные и веселые лица молодых людей имели теперь несколько удрученный вид школьников, шествующих к грозному учителю.

Только лицо Ивкова дышало отважно-реши-тельным выражением, и он ощупывал в

боковом кармане своего люстринового сюртука несколько листиков с обличительными стихотворениями и почему-то воображал себя то в роли маркиза Полы перед Филиппом, то в положении посла князя Курбского перед Иваном Грозным.

IX

— Очень рад вас видеть... эээ... очень рад. — Просту садиться, господа! — говорил, по обыкновению слегка растягивая, словно приискивая слова, приветливым тоном адмирал, когда несколько молодых людей, в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, вошли гурьбой в адмиральскую каюту.

Судя по неестественно серьезным и несколько напряженным выражениям почти всех этих юных, свежих, жизнерадостных загорелых лиц, безбородых и безусых или с едва пробивающимися бородками и усиками, гости, с своей стороны, далеко не испытывали особенной радости видеть любезного хозяина и что-то долго топтались, складывая свои фуражки на бортовой диван, у входа в каюту.

— Да что вы толчетесь там? Садитесь, прошу вас! — крикнул адмирал с нетерпеливой ноткой в голосе.

Молодые люди не заставили, конечно, более повторять приглашения, они бросились со всех ног, словно испуганный косячок жеребят, и торопливо уселись вокруг круглого сто-

ла, на котором лежало несколько книг и журналов и стояла привлекательная большая коробка зеленого цвета с папиросами. Очередные «жертвы» заняли места по обе стороны адмирала.

Воцарилась мертвая тишина.

Адмирал обводил ласковым взглядом своих «молодых друзей» и, казалось, несколько недоумевал: отчего они не чувствуют себя так же хорошо и приятно, как чувствовал он себя сам в это прелестное утра. И это ему не нравилось.

Действительно, все эти юнцы, обыкновенно веселые и шумливые, какими только могут быть молодые люди на заре жизни, полные надежд, теперь сидели притихшие, с самым смиренным видом, напоминая собой шустрых и проказливых мышей, внезапно очутившихся перед страшным котом.

Положим, он добродушно и, по-видимому, без всякого злого умысла глядит своими большими, блестящими черными глазами, но все-таки... кто его знает?..

Только Ивков, в качестве всеми признанного либерала, да его большой приятель, доб-

родушнойший и милейший штурманский кондуктор Подоконников, который, проглотив с восторгом в Сан-Франциско «Отцов и детей», отчаянно корчил Базарова, стал признавать одни естественные науки и, внезапно приняв решение поступить после плавания в медико-хирургическую академию, надоедал доктору просьбами прочесть ему несколько лекций по физиологии и анатомии, которые тот, разумеется, основательно позабыл, — только оба эти молодые люди старались принять самый непринужденный и независимый вид (дескать, мы не очень-то боимся глАЗастого черта) и по временам бросали на своих менее мужественно настроенных товарищей сдержанно-иронические взгляды, которые, казалось, говорили:

«Чего вы трусите? Совсем это недостойно свободных граждан!»

«Презренные рабы жестокого тирана!» — мысленно вдруг проговорил Ивков, находившийся, очевидно, в несколько приподнятом настроении человека, собирающегося читать плоды своей гражданской музыки самому общепочтенному адмиралу и готового, если придется,

пострадать за свой «суровый и свободный стих».

Эта эффектная фраза, внезапно пришедшая Ивкову в голову под влиянием недавно прочитанных стихов Виктора Гюго, хоть и кольнула его художественное чутье своею фальшью — особенно в виду коробки с папиросами на столе гостеприимного «жестокотирана», которого — невольно припомнил Ивков — к тому же и матросы любили, — тем не менее соблазнила семнадцатилетнего поэта, как пикантное начало нового цивического произведения.

И, увлеченный им, он уже мысленно слагал следующие строки, не лишённые, по его не совсем скромному мнению, некоторой значительности:

*Презренные рабы жестокого тирана,
О заячьи сердца, лишь знающие страх,
Очнитесь поскорей и жалкого титана,
Как древле Перуна, повергните во прах.*

Создавая эти строки, Ивков в поэтическом экстазе, по обыкновению, морщил лоб и, сам того не замечая, строил необыкновенные гримасы, свидетельствовавшие о некоторой мучительности поэтических родов.

И «жестокий тиран», заметивший страдания Ивкова, участливо и необыкновенно ласково спросил:

— Что с вами, Ивков?.. Вы нездоровы?.. У вас такой вид, будто желудок не в порядке, а?.. Идите скорее к доктору...

Все поэтическое настроение сразу пропало у Ивкова, и он ответил, стараясь скрыть свое стыдливое чувство обиженного поэта под сдержанной сухостью тона:

— Я совершенно здоров, ваше превосходительство.

И уж более не продолжал слагать стихов в присутствии адмирала.

А Подоконников, в своем неудержимом стремлении походить на Базарова во что бы то ни стало и не признавать ничего, кроме естественных наук, пошел еще далее, и не в области мысли, а в сфере действий. Находя, что сидеть, как все сидят, не вполне прилич-

но Базарову, он слишком откинулся назад на стуле и чересчур высоко закинул ногу на ногу, приняв не совсем естественную и вовсе неудобную, но зато демонстративную позу человека, окончательно решившего, что после него будет расти лопух, а потому теперь ему на все «наплевать», и был очень доволен, что несколько не стесняется и в присутствии адмирала походить на Базарова.

Но — увы! — внутреннее торжество юного Базарова длилось всего несколько мгновений, так что никто из товарищей не успел заметить и ахнуть от такого бесстрашия Подоконникова.

Случайный взгляд адмирала, скользнувший по фигуре молодого человека не без некоторого соболезнования к стеснённости его положения, смутил робкую душу юного штурмана, заставив немедленно опустить «задранную» ногу, принять более удобную позу и в то же время покраснеть до самых корней своих рыжих волос от смущения и досады за свой страх перед этим «отсталым отцом» и за свое, как он думал, «позорное малодушие».

О, какой он трус и как ему далеко еще до Базарова! Необходимо изучить естественные науки! И какой, однако, свинья этот доктор Арсений Иванович! Он, видимо, не хочет познакомиться его ни с физиологией, ни с анатомией, ссылаясь на занятия, а между тем решительно ничего не делает по целым дням и только играет в шахматы или рассказывает глупейшие анекдоты.

— Что же вы не курите, господа? Курите, пожалуйста... Папиросы к вашим услугам, — с обычным своим радушием предлагал хозяин.

И с этими словами он взял коробку, чтобы любезно передать ее гостям, как вдруг потряс ею в руке, заглянул внутрь и гневно крикнул:

— Васька!

Окрик этот был так металлически и пронзительно и так напоминал адмирала наверху во время разносов, что все невольно вздрогнули. У «жертв» от этого крика чуть не лопнули барабанные перепонки, как они утверждали впоследствии.

— Васька! Скотина!

Через секунду-другую влетел Васька, и те-

перь уже не в ситцевой рубаше и не в туфлях на босые ноги, а в обычном своем щегольском виде адмиральского камердинера, который он принимал после подъема флага, долго и тщательно занимаясь своим туалетом и поражая своим франтовством писарей и вестовых.

Он был в черном люстриновом сюртуке, перешитом из адмиральского, в белой манишке с высокими воротничками, в голубом галстуке, в котором блестела аметистовая булавка в виде сердечка, при часах с толстой серебряной цепочкой, украшенной несколькими брелоками, и в скрипучих ботинках. Его кудластые, с пробором посредине волосы лоснились и пахли от обильно положенной помады.

Он благоразумно остановился в нескольких шагах от адмирала, на случай неожиданной вспышки, и недвижно замер, подавшись вперед корпусом и не без лакейской грации изогнув несколько руки с красными пальцами, виднеющимися из-под широких манжет с блестящими запонками. В его плутовском лице с ярко-румяными щеками и с сверкавши-

ми из-за полуоткрытых толстых губ зубами и в его наглых и лукавых глазах стояло приторное выражение преувеличенного испуга и недоумения.

— Это что? — спросил адмирал, взглядывая на Ваську и потрясая коробкой.

— Папиросы-с! — умышленно наивным тоном отвечал Васька, делая глупую физиономию.

— Болван! Смотри! — проговорил адмирал и швырнул на пол коробку, из которой посыпался десяток папирос.

— Виноват, недосмотрел.

— А ты досматривай, если я приказываю... Подай сейчас полную коробку!

— Есть!

И когда Васька исчез, адмирал, уже снова повеселевший, усмехнулся и, обращаясь к своим гостям, проговорил:

— Экая каналья! Хотел оставить вас без папирос сегодня!.. Да вы постойте, Подоконников, не закуривайте... Васька сию минуту принесет...

— Я, ваше превосходительство, закурю сигару, если позволите, — заметил молодой че-

ловек, решивший, что он, как и Базаров, должен курить только сигары.

— И охота вам курить такую дрянь, как ваши чирутки, когда вам предлагают хорошие папиросы...

— Я вообще предпочитаю сигары, ваше превосходительство! — храбро настаивал Подоконников.

— Предпочитаете? А когда это вы, любезный друг, успели научиться предпочитать сигары? Я так по выходе из корпуса, когда был таким же молодым, как вы, ничего не умел предпочитать... Случалось, бывало, мичманом сидеть на экваторе, — и махорку курил... А уж вы сигары предпочитаете? Эй, Васька! Поддай сюда ящик с сигарами... У меня, по крайней мере, хорошие сигары... Впрочем, ведь вы все равно не знаете в них никакого толка... Право, курите лучше папиросы... Советую вам, Подоконников...

Адмирал так настойчиво советовал, что сконфуженный молодой человек поспешил закурить папиросу, чем, видимо, удовлетворил адмирала, имевшего слабость почти требовать, чтобы все разделяли его вкусы.

Закурили почти все гости, наслаждаясь за-
тяжками.

— А ведь не правда ли, любезный друг, что папиросы лучше всяких сигар? — снова обра-
тился он к юному штурману, уже было обра-
довавшемуся, что перестал быть предметом
адмиральского внимания...

— По-моему, ваше превосходительство, и
сигары...

— Да какого черта вы понимаете в сигарах,
Подоконников! — перебил, раздражаясь, ад-
мирал, несколько сбитый с толку таким со-
вершенно непонятным пристрастием этого
юнца к сигарам. — «Сигары, сигары»! Надо,
любезный друг, знать вещи, о которых гово-
ришь... Вот послужите, поплаваετε, выучи-
тесь курить хорошие сигары, тогда и говори-
те. А то курит мерзость и предпочитает сига-
ры... Скажите пожалуйста!.. Так о чем мы по-
оследний раз читали, господа? — круто пере-
менил разговор адмирал и взял со стола том
«Истории XVIII столетия» Шлоссера.

— О Франции... Когда Наполеон был консу-
лом, ваше превосходительство! — произнесла
одна из «жертв» низким баском.

К благополучию этого неказистого, приземистого молодого человека, «дяди Черномора», как звали его за маленький рост, с сонным взглядом и малообещающим выражением широкого и лобастого лица, который не очень-то легко воспринимал науки и хлопал на чтениях глазами, адмирал не любопытствовал узнать, о чем именно читали.

Он снова обвел взглядом присутствующих и, по-видимому, недовольный общим вялым и унылым настроением, сам начал терять хорошее расположение духа. В самом деле, он собирает этих «мальчишек» и тратит на них время, чтобы развить их и приохотить к занятиям, чтобы вселить в них дух бравых моряков, а они... не ценят этого и сидят как в воду опущенные!

И вместо того, чтобы начать чтение, адмирал совершенно неожиданно проговорил:

— А я вам должен сказать, мои друзья, что вы ведь невежи...

«Друзья» невольно подтянулись на своих местах.

— Да-с, невежи... Разве воспитанные люди заставляют себя ждать, как вы полагаете?

Никто, разумеется, никак «не полагал» насчет этого, а все только подумали, что глаза-того черта вдруг «укусила муха» и что сам он тоже далеко не воспитанный человек.

— Так, я вам скажу-с, поступают только...

Видимо, сдержавшись от употребления существительного, характеризующего с большей ясностью невежливых людей, адмирал на секунду запнулся и продолжал:

— Только люди, совсем не знающие приличий... Помните это и впредь не ведите себя по-свински, — выпалил адмирал, на этот раз уже не лишивший своей речи образного сравнения, и подернул одним плечом. — Отчего вы не шли и заставили меня посылать за вами, когда я сказал Ивкову, чтобы вы собрались к десяти часам? Ивков, надеюсь, передал вам мое приказание?

Ивкова подмывало принять «венец мученичества» и, по крайней мере, отсидеть часа два на салинге. И он открыл было рот, чтобы самоотверженно принять вину на себя, сказав, что забыл передать товарищам приказание, как дядя Черномор уже добросовестно пробасил, что Ивков приказание передал, чем

вызвал в неблагодарном Ивкове мысленное название «идиота».

— Так как же вы смели ослушаться адмирала, а?

Судя по внешним признакам, барометр адмиральского расположения духа не очень быстро падал, и потому адмирал, казалось, охотно удовлетворился бы более или менее правдоподобной отговоркой. Он ждал ответа, и необходимо было отвечать.

И так как обе очередные жертвы, обязанные, по давно установившемуся соглашению, отвечать на все безличные вопросы адмирала, упорно молчали, не умея находчиво со- врать, то исполнить эту миссию охотно взялся маленький, черный, как жук, шустрый и необыкновенно сладкий гардемарин Попригопуло, «потомок греческих императоров», или сокращенно — «потомок», как часто звали товарищи юного грека, имевшего однажды неосторожность как-то пуститься в генеалогию.

С восторженной почтительностью глядя на адмирала своими «черносливами», большими и масляными, он проговорил вкрадчи-

вым тонким голоском, чуть-чуть шепелявя и плохо справляясь с шипящими буквами:

— Мы, ваше превосходительство, собирались именно в ту самую минуту, когда вы изволили прислать за нами... Часы отстают, ваше превосходительство, в гардемаринской каюте... Необходимо их поправить... На целых десять минут отстают...

Адмирал покосился на «потомка греческих императоров» и усмехнулся. Оттого ли, что ссылка на часы показалась ему слишком нелепой, или просто оттого, что ему не хотелось более «школить» своих «молодых друзей», но только он сразу подобрел и заметил:

— Вперед проверяйте часы, господа... Ну, а теперь почитаем... Прошу слушать-с!

И, раскрывая книгу, прибавил:

— Морскому офицеру надо стараться быть образованным человеком и интересоваться всем... Тогда и свое дело будет осмысленнее, а вы вот... опаздываете и точно недовольны, что я с вами занимаюсь!

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы, напротив, очень довольны! — проговорил «потомок».

Адмирал стал читать одну из глав Шлоссера. Читал он недурно, с увлечением, подчеркивая то, что считал нужным оттенить. Несколько человек слушали с вниманием. Остальные, делали вид, что слушают, неустанно курили и думали, как бы скорее он кончил.

— Да, мои друзья, — заговорил адмирал, прерывая чтение и уставляя глаза на первое попавшееся лицо слушателя, — гениальный человек был Наполеон... Этот немец Шлоссер его не совсем понимает... Вот Тьера прочтите...

Ивкова так и подмывало заявить, что Наполеон, собственно говоря, был великий подлец, и более ничего, который задушил республику и стал тираном. Но он благоразумно решил промолчать. Все равно «глазастого» не убедишь, а он знает, что знает. И Леонтьев того же мнения, что Наполеон подлец, хоть и великий человек... И Подоконников так же думает.

— Да, большой гений был, а флота создать не умел... Англичане всегда били французов на море... Вот хоть бы это Абукирское сраже-

ние. Вы, конечно, не знаете Абукирского сражения?.. Вот Ивков стихи пишет и разные глупости читает... романы всякие... а Абукирского сражения тоже не знает!

И адмирал стал рассказывать об Абукирском сражении и — надо отдать ему справедливость — так ярко и картинно, несмотря на недостаток красноречия, нарисовал картину боя, что даже самые невнимательные слушатели в те оживились и внимали с интересом.

— Вы думаете, отчего французов поколотили под Абукиром, хотя французская эскадра была не слабее английской и французские матросы нисколько не уступали в храбрости английским? Отчего везде на море французов били?

И так как ни один из слушателей не отвечал, не рискуя за неправильный ответ быть оборванным, то адмирал, выдержав паузу, продолжал:

— Оттого, что у французов были в то время болваны морские министры и ослы адмиралы... Они заботились о карьере, а не о флоте и обманывали Наполеона... И у французских моряков не было настоящей выучки, не было

школы и того морского духа, который приобретается в частых плаваниях... Помните это, господа!.. Без хорошей школы, без плаваний, во время которых надо учиться, чтобы быть всегда готовым к войне, нельзя одерживать побед!

Проговорив это поучение, адмирал принялся читать.

Против обыкновения, сегодня он отвлекался менее и не рассказывал, придираясь к какому-нибудь случаю, разных эпизодов из службы на Черном море. Часа через полтора адмирал закрыл книгу и проговорил:

— На сегодня довольно.

Не было и экзамена. И все нетерпеливо ждали обычного «можете идти», но адмирал, видимо, еще хотел, как он выражался, «побеседовать с молодыми друзьями» и сказал:

— Вот я сегодня перевел в океане офицеров с судна на судно. Как вы полагаете, почему я это сделал?

Все «молодые друзья» полагали, что сделал он это потому, что был «глазастый дьявол» и «чертова перечница». Почему же более?

Не рискуя высказаться в таком смысле,

все, разумеется, молчали.

И адмирал, казалось, понял, что думали «молодые друзья», и проговорил:

— Вы, конечно, думаете: адмиралу пришла фантазия, он и сделал сигнал? Нет, мои друзья. Я сделал это, чтобы вы все на примере видели, что всегда каждый из вас должен быть готов, как на войне... И знаете ли, что я вам скажу...

Но в эту самую минуту, как адмирал собирался что-то сказать, через открытый люк адмиральской каюты донесся нервно-тревожный и неестественно громкий окрик вахтенного офицера:

— Марса-фалы отдай! Паруса на гитовы! Право на борт!

В этом окрике слышалось что-то виноватое.

Вслед за тем в адмиральскую каюту вбежал вахтенный гардемарин и доложил:

— Шквал с наветра!

Адмирал, схватив фуражку, бросился наверх, крикнув Ваське закрыть иллюминаторы.

Довольные, что шквал так кстати прервал

адмиральскую беседу, гардемарины выскочили из каюты, не предвидя, конечно, что этот шквал будет началом такого адмиральского «урагана», которого они не забудут во всю жизнь.

Х

Жесточайший шквал с проливным крупным дождем уже разразился, словно бешеный, внезапно напавший враг, над маленьким трехмачтовым корветом в двести тридцать футов длины.

Окутав «Резвый» со всех сторон серой мглой, — точно мгновенно наступили сумерки, — он властно и шутя повалил его набок всем лагом и помчал с захватывающей дух быстротой.

Вздрагивая и поскрипывая своим корпусом, накренившийся до последнего предела корвет чертит подветренным бортом вспенившуюся поверхность океана. Он тут, этот таинственный океан, страшно близко, кипит своими седыми верхушками. Дула орудий купаются в воде. Палуба представляет собою сильно наклоненную плоскость.

Рев вихря, вой его в вздувающихся и бьющихся снастях и в рангоуте и шум ливня сливаются в каком-то адском, наводящем трепет концерте.

Молодые, неопытные моряки переживали

жуткие мгновения. Казалось, вот-вот еще накренил корвет, и он в одно мгновение пойдет ко дну и со всеми его обитателями найдет безвестную могилу.

И многие тихонько крестились.

По счастью, в момент нападения шквала успели убрать фок и грот (нижние паруса) и отдать все фалы. Таким образом, площадь парусности и сопротивления была значительно уменьшена, и шквал, несмотря на мощную свою силу, не мог опрокинуть корвета и только в бессильной ярости гнул брам-стенги в дугу.

Зато, словно обрадованный людской оплошностью, он с остервенением напал на паруса, не взятые на гитовы (не подобранные). В одно мгновение большой формарсель «полоскал», изорванный в лоскутья, а оба брамселя, лиселя с рейками и топселя были вырваны и, точно пушинки, унесены вихрем.

Вахтенный офицер, молодой мичман Щеголов, прозевавший подобравшийся шквал и потому слишком поздно начавший уборку парусов, стоял на мостике бледный, взволнованный и подавленный, с виноватым видом

человека, совершившего преступление.

Ужас при виде того, что вышло от его невнимательности, смущение и стыд наполняли душу молодого моряка. Он признавал себя бесконечно виноватым и навеки опозоренным. Какой же он морской офицер, если прозевал шквал? Что подумает о нем адмирал и что он с ним сделает? Что скажут товарищи и Михаил Петрович за то, что он так осрамился? И нет никакого оправдания. Ведь он видел это маленькое серое злое облачко на горизонте и — что нашло на него? — не обратил на него внимания...

В эту минуту молодому самолюбивому мичману казалось, что после такого позора жить на свете и влюбляться в каждом порту решительно не стоит.

С чувством смущения и виноватости смотрели на клочки фор-марселя и на сломанные брам-реи и капитан, и старший офицер, и старший штурман, выскочившие наверх и стоявшие на мостике, и старый боцман на баке, и все старые матросы.

Каждый из этих людей, дороживших репутацией «Резвого», как исправного военного

корабля, и считавших себя как бы связанными с ним тою особенною любовью, какую чувствовали прежние моряки к своему судну, понимал и еще более чувствовал, что «Резвый» осрамился, да еще на глазах такого моряка, как адмирал, и такого соперника, как «Голубчик», и каждый словно бы и себя считал причастным этому сраму.

И на виновника его было брошено несколько десятков сердитых и укоряющих взглядов. «Осрамил, дескать!»

Даже совсем неморяк, невозмутимый флегматик, белобрысый доктор, шибко струсивший в тот момент, когда повалило корвет, и тот, когда страх прошел, при виде сердитых, но не тревожных лиц начальства, неодобрительно покачал головой и заметил, обращаясь к тетке Авдотье:

— А еще считает себя моряком!

— И попадет же Щеглову! — промолвил в ответ лейтенант Снежков. — Из-за него и всем нам въедет, — испуганно прибавил он.

Обыкновенно веселый и добродушный наверху, капитан Николай Афанасьевич был сильно раздражен.

— Прозевали шквал!.. Полюбуйтесь, что наделали... Эх! — сдерживая злобное чувство, кинул капитан, подходя к Щеглову и искоса поглядывая тревожными глазами на адмирала, стоявшего на другом конце мостика и уже поведившего плечами...

«Будет теперь история!» — подумал он, поднимая голову и озирая рангоут.

Старший офицер Михаил Петрович, взволнованный не менее самого Щеглова, ничего не сказал ему, но только бросил на него быстрый взгляд из-под очков, но, господи, что это был за уничтожающий взгляд! Глаза добрейшего Михаила Петровича в это мгновение сверкали такой ненавистью, что, казалось, готовы были разорвать в клочки мичмана, «опозорившего» корвет.

«И ведь новый фор-марсель был!» — пронеслось в ту же секунду в голове старшего офицера, этого заботливого ревнителя и хозяина «Резвого», я он громко, сердито и властно крикнул на бак:

— Стаксель долой!..

Увы!.. От стакселя остались лишь клочки.

Адмирал едва сдерживался и только быст-

рей и быстрее ерзал плечами.

То спокойно-решительное выражение его лица, которое было в первое мгновение, когда он выбежал наверх, и всегда бывавшее у него в минуты действительной опасности, исчезло, как только его быстрый и опытный морской глаз сразу увидал положение корвета и понял, что никакой беды нет. Шквал сию минуту промчится, и корвет встанет.

И, не обращая никакого внимания ни на сильный крен, ни на ливень, он весь отдавался во власть закипавшего гнева и негодования старого лихого моряка, который видит такой позор, и где же? У себя на флагманском судне!

Хотя он стоял в неподвижной позе «морского волка», расставив врозь ноги, но все «ходуном ходило» в этой кипучей, беспокойной натуре. Насупившееся лицо отражало душевную грозу. Скулы беспокойно и часто двигались, и большие круглые глаза метали молнии. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались, и тогда толстые короткие пальцы судорожно щипали ляжки, или нервно тербли щетинку усов, или рвали петли сюрту-

ка.

Но он еще крепился и молчал и только по временам, подрагивая то одной, то другой ногой, взглядывал на Щеглова и на капитана с видом озлобленного ястреба, собирающегося броситься на добычу.

В самом деле, какой срам!.. Прозевать шквал на военном судне! Потерять паруса!! И у него на глазах!

И вздрагивающие губы его невольно шепчут:

— Болван!.. Скотина!..

Эти ругательства и еще более энергичные слышит только флаг-офицер, стоящий с выражением почтительного трепета сзади адмирала. Тут же, в некотором отдалении, стоит и только что выбежавший флаг-капитан. Он, по обыкновению, прилизан, щеголеват и надушен и стоически мокнет под дождем, но золотушное и хлыщеватое белобрысое лицо его несколько бледно и растерянно — не то от страха перед воображаемой опасностью, не то от боязни попасть «под руку» этого необузданного «животного» и скушать что-нибудь оскорбительное, зная наперед, что заячья его

душонка стерпит все, чтоб не испортить блестяще начатой адъютантской карьеры.

И в эту минуту он решает окончательно уехать в Россию. Придет корвет в Нагасаки, и он будет проситься отпустить его по болезни... То ли дело служба на сухом пути, где-нибудь в штабе, с порядочными, благовоспитанными людьми!.. А здесь — и эта полная опасности жизнь, и эти «мужики», начиная с адмирала!

На мостике показался Васька с дождевиком для адмирала в руках и развязно подошел к адмиралу.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, а то сильно замочит!

— К черту! — цыкнул на него адмирал, и Васька моментально исчез.

Прошло еще несколько мгновений. Адмирал сдерживался. Но гроза, бушующая в душе его, требует разрядки. Более молчать нет сил.

И, словно получивший в спину иголку, он подлетел к мичману и, остановив на нем глаза, сделавшиеся вдруг совсем круглыми, и вращая белками, пронзительно крикнул ему

В упор:

— Вы... вы... Знаете ли, кто вы?..

Ему стоило, видимо, больших усилий (или, вернее, гнев не дошел до полной потери самообладания), чтоб не сказать мичману Щеглову, кто он такой в эту минуту, по мнению адмирала.

— Вы... вы... не морской офицер, а... прачка! — закончил он совершенно неожиданно для присутствующих и, вероятно, для самого себя... — Прачка! — повторил он, готовый, казалось, своими выпученными глазами съесть живьем мичмана...

А мичман, весьма ревниво оберегавший чувство своего достоинства и не раз «разводивший» с адмиралом, теперь виновато и сконфуженно слушал, приложив свои вздрагивающие пальцы к козырьку фуражки, и настолько чувствовал себя виновным, что, схватив его в эту минуту адмирал за горло и начини его душить, — он беспрекословно выдержал бы и это испытание.

Ведь он прозевал шквал, он, мичман Щеглов, самолюбиво мнивший себя доселе отличным вахтенным начальником, у которого

глаз... у, какой зоркий морской глаз!

Обезоружило ли адмирала истинно страдальческое выражение отчаяния на лице злополучного мичмана, который, казалось, вполне сознавал, что ему следует поступить в прачки, а не служить во флоте, или просто случайно брошенный адмиралом взгляд на Монте-Кристо отвлек его внимание, но только адмирал оставил «мичмана-прачку» в покое и с большею резкостью в тоне сказал, обращаясь к капитану и отряхиваясь от воды:

— У вас, Николай Афанасьевич, не военное судно, а кафешантан-с! Срам! Вы ни за чем не смотрите... Офицеров распустили, и вот...

Монте-Кристо, и сам раздраженный и сконфуженный, слушал эти резкие обидные слова, оскорблявшие в нем самолюбивого и знающего свое дело моряка, с напускным хладнокровием несправедливо обиженного человека, который не оправдывается, хорошо зная тщету оправданий и требования дисциплины.

«Ори, братец, ори, на то ты и беспокойный адмирал!» — говорило, казалось, официально-серьезное выражение его полного, румяно-

го и потасканного лица веселого жуира.

Эта сдержанность, понятая адмиралом как возмутительное равнодушие капитана к своему делу, взорвала его еще более, и он, словно бешеный, выкрикнул:

— Не корвет, а кабак! Ка-бак!

И с этим окриком он круто повернулся и перешел на другой конец мостика. Там он остановился, взволнованный и грозный, словно туча, еще насыщенная электричеством, готовый и ограничиться этой вспышкой и вновь забушевать еще с большей силой, разразившись ураганом.

И то и другое было одинаково возможно в этой бешеной, порывистой и страстной натуре адмирала, наивно-деспотичной и стихийной, как и любимое им море.

— Срам... позор!.. — взволнованно шептал он.

И весь вздрагивал, гневно сжимая кулаки, когда его выпученные и злые теперь глаза останавливались на трепавшемся фор-марселе — этом ужасном свидетельстве служебной небрежности, возмущавшей и приводившей в ярость вскормленника черноморских лихих

адмиралов, прошедшего суровую школу службы у этих рыцарей долга и вместе с тем отчаянных и подчас жестоких деспотов.

Господа офицеры, выскочившие из кают-компаний, осторожно прятались за грот-мачту, чтобы не попасться на глаза адмиралу. Только храбрый мичман Леонтьев, проповедовавший теорию деспотизма во имя свободы, да батюшка Антоний решились показаться на шканцах.

Гардемарины, ровно шаловливые мыши, сбились у трапа и поглядывали на адмирала, который только что рассказывал им об Абукирской битве и так любезно угощал их папиросами, а теперь...

— Задаст сегодня «глазастый черт» Абукирское сражение! — говорил с насмешливой улыбкой Ивков своему другу Подоконникову. — Вот увидишь... Смотри, каким он глядит Иваном Грозным... А ведь в самом деле Щеглов «опрохвостился!» — прибавил юный моряк, чувствуя невольную досаду на Щеглова и несколько обиженный за честь своего корвета.

XI

Сделав столько вреда, сколько было возможно в одну, много две минуты жестокой схватки с корветом, грозный шквал стремительно понесся далее, заволакивая широкой полосой мглы горизонт по левую сторону корвета.

А справа и над «Резвым» уже все очистилось и радостно просветлело.

Снова ярко сверкало раскаленное солнце, быстро высушивая своими палящими, почти отвесными лучами и мокрую палубу, и намокшие, вздутые снасти с дрожащими на них и сверкающими, как брильянты, дождевыми каплями, и прилипшие к спинам белые матросские рубахи. Снова мягко и нежно сияла голубая лазурь страшно высокого неба с плывущими по нем перистыми, ослепительной белизны облачками, и снова океан с тихим ласковым гулом катил свои волны. Прежний ровный норд-вест раздувал вымпел и адмиральский и кормовой флаги. Чудный прозрачный воздух дышал острой свежестью, как бывает после гроз.

«Резвый» уже поднялся, и бег его становился все тише и тише. Опять были поставлены все уцелевшие паруса, и вслед за тем раздалась команда: «свистать всех наверх». Надо было менять фор-марсель, поднять новые брам-реи, привязать и поставить новые паруса взамен унесенных шквалом.

Бедный «Резвый» походил теперь на птицу с выщипанными перьями и еле подвигался вперед.

А сбоку, на ветре, в близком расстоянии «Голубчик», уже весь сверху донизу покрытый парусами и стройный, красивый и изящный, словно гигантская белоснежная чайка, грациозно и легко скользил по океану, чуть-чуть накренившись и заметно убегая вперед.

Видно было, что шквал напрасно бесновался, напавши на клипер, встретивший врага с оголенными мачтами. На «Голубчике» не прозевали и вовремя убрали все паруса.

И сконфуженные моряки с оплошавшего и ощипанного «Резвого», начиная с самого адмирала и кончая маленьким кривоногим сигнальщиком Дудкой, смущенно, словно бы виноватые, посматривают на «Голубчик», бле-

стящий и щегольской вид которого еще более подчеркивает посрамление «Резвого» и травмирует свежую общую рану.

«Голубчик» уходил, и адмирал, несмотря на гнев, невольно залюбовавшийся клипером, уже снова нахмурил было брови за то, что спутник осмелился удаляться, как вдруг лицо адмирала прояснилось.

Словно бы волшебством на «Голубчике» исчезли все верхние паруса и убран был пузатый грот. И клипер пошел тише, поджидая своего закопавшегося товарища.

— Поднять сигнал «Голубчику», что я извещаю ему свое особенное удовольствие! — приказал, слегка поворачивая голову к флаг-офицеру, адмирал.

Через минуту сигнал уже взвился на крюйс-брам-рее.

А адмирал нарочно громко, чтоб слышали все стоявшие на мостике, продолжал, ни к кому не обращаясь, точно говоря сам с собой:

— Вот это военное судно, а не... кафешантан. Видно, что там понимают, как надо служить... Там офицеры не распущены... Там теперь смеются над позором флагманного кор-

вета... Это черт знает что такое!..

Монте-Кристо только морщился и тревожно взглядывал на фор-люк, откуда должны были вынести новые паруса. Уж прошла минута, другая, третья, а фор-марсель не несли, и капитан волновался, нервно пощипывал свои холеные усы, и все его мысли заняты были фор-марселем.

Старший офицер Михаил Петрович, распряжавшийся авралом, точно ужаленный жгучим чувством ревности к «Голубчику», где старшим офицером был его большой приятель и такой же славный моряк, как и он сам, и с которым они соперничали в знании всех тонкостей морского дела, — еще нетерпеливее, громче и сердитее крикнул:

— На баке! Что же фор-марсель? Скорее фор-марсель!

В этом крике, полном нетерпения и досады, чуткое ухо моряка услышало бы и нотку мольбы и страдания. Оно отражалось и в нервно напряженном лице Михаила Петровича, и во всей его перегнувшейся через поручни длинной фигуре, и в этой распростертой вперед длинной руке, которая, казалось,

протягивалась за марселем.

Он весь теперь был поглощен одной мыслью — скорей переменить паруса. Ничего другого не существовало в мире в эту минуту, и он, как Ричард III, готов был воскликнуть: «Марсель, подавайте марсель, всю жизнь за марсель!»

«Господи! Неужели мы опять опозоримся и не поставим скоро всех парусов?! За что же такое наказание! Боже, помоги!» — мысленно произносил он молитву и еще более подавался вперед, точно этим движением рассчитывал ускорить появление желанного, свернутого в виде длинного кулька, большого паруса.

Но прошла еще длинная, казавшаяся вечностью минута, а паруса не несли. Все как-то угрюмо и вместе сконфуженно смотрели на бак; на палубе царила мертвая тишина.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — голосом, полным жалобы и страдания, шепнул капитан, и вся его полная высокая фигура и его румяное лицо выражали мучительную боль.

Но Михаил Петрович, казалось, не слы-

шал. Его обыкновенно доброе, славное лицо внезапно исказилось бешеным животным гневом, и руки тряслись. И он крикнул дрожащим, задыхающимся, злобным голосом:

— Фор-марсель подать! Боцмана послать!..

С уст его слетела в дополнение самая грубая ругань, и он, словно полоумный, бросился с мостика на палубу и с распростертыми руками побежал на бак и ринулся в подшкиперскую.

Адмирал в нетерпении ходил взад и вперед по полуюту, словно зверь в клетке, и по временам бешено мял в руках свою фуражку и яростно бросал ее на палубу.

Глядя на всех этих беснующихся моряков, посторонний человек подумал бы, что попал в бедлам.

Но это были «цветочки».

XII

В эти несколько минут, которые казались нетерпеливым морякам наверху долгими часами, в подшкиперской каюте, заваленной парусами, тросами, блоками и разными другими принадлежностями судового запаса, подшкипер с лихорадочною торопливостью искал новый, запасный фор-марсель.

На этого старого доку и «чистодела», каким был, как почти все подшкипера, унтер-офицер Артюхин, сегодня нашло какое-то затмение. В порядке содержащий подшкиперскую и знавший на память, где что лежит, он, словно обезумевший, метался в небольшой темноватой каюте-кладовой, отыскивая в огромной куче парусов фор-марсель и оглашая каюту отчаянными проклятиями и ругательствами, без которых, по-видимому, поиски его не могли бы увенчаться успехом.

А в открытые двери подшкиперской, около которой в ожидании марселя стояли матросы, посматривая на беснующегося Ивана Митрича, то и дело доносился сверху зычный голос боцмана, все с большим и большим

нетерпением посылавшего через люк морские приветствия, и, наконец, перешел в какой-то безостановочный рев сплошной ругани, напоминавший подшкиперу, что наверху ожидают марсель далеко не с ангельским терпением, и заставлявшей Артюхина, в свою очередь, усиливать энергию и выразительность собственной ругательной импровизации.

— Ах ты, сволочь!

С этими словами старый подшкипер, — на плутоватом лице которого, по выражению матросов, «черти играли в свайку», до того оно было изрыто оспой, — с свирепым озлоблением рванул изо всей силы край одного из парусов и, осыпав марсель новой руганью, словно живое, безмерно виноватое перед ним существо, указал на него окровавленными пальцами и исступленно крикнул:

— Тащи его, подлеца, братцы!.. Чтоб ему...

В тот самый момент, как несколько человек матросов вытаскивали из подшкиперской свернутый в длинную широкую колбасу парус, в кубрике показался старший офицер Михаил Петрович, весь бледный; с лицом, ис-

каженным страданием и злобой.

— Артюхин! — крикнул он задышающимся голосом, пропустив матросов с фор-марселем.

— Яу! — отозвался подшкипер, показываясь из каюты, как рак красный, обливающийся потом и с угрюмо-виноватым видом человека, чувствующего великость своей вины и готового по меньшей мере недосчитаться нескольких зубов.

Действительно, было несколько мгновений, во время которых, судя по выражению лица старшего офицера и по сжатым простертым его кулакам, физиономии подшкипера грозила серьезная опасность быть искровяненной, и Артюхин уже заморгал глазами, готовясь к «бою».

Но Михаил Петрович, видимо, овладел собой и только взвизгнул, поднося кулак к самому носу подшкипера:

— У-у-у-у... подлец!

И, стремительно повернувшись, вылетел наверх и понесся бегом на мостик.

Но страдания старшего офицера не прекратились, хотя фор-марсель и был подан. Сегодня, как нарочно, на «Резвом» неудача шла за

неудачей.

Когда свернутый парус стали поднимать к марсу, чтобы затем привязать к нее, веревка в каком-то блочке «заела», и — можете ли вообразить ужас моряков «Резвого»? — марсель остановился посредине, повиснув на снастях, и дальше не шел.

Позор, да еще на глазах у «Голубчика», был полнейший.

Марсовой старшина неистово дергал с марса «заевшую» снасть и, разумеется, костил ее так, как только может костить сквернословие лихого и долго служившего во флоте унтер-офицера. Сконфуженный и освирепевший боцман не очень громко, чтобы не было слышно на юте, но очень энергично выбрасывал из своего горла, словно бы из фонтана, отчаянную ругань на марс и снизу тряс и раздергивал веревку, которая почему-то не шла.

«Неужто он в горячке недосмотрел, что неправильно привязали внизу парус, и его придется снова спустить и перевязать?» — в ужасе думал он, выпаливая, как бы в отместку за такие мысли, какое-то невероятное по смелости фантазии и вдохновения ругатель-

СТВО.

Владимир Андреевич Снежков, заведовавший фок-мачтой, стоял около нее ни жив ни мертв. С ошалелым лицом, глупо вытаращенными глазами и раскрытым ртом растерянно смотрел он на застрявший фор-марсель с выражением отчаяния и страха, то и дело оглядываясь назад, на ют, где бешено носилась взад и вперед коренастая фигура адмирала, и чувствовал, как у него засасывает под ложечкой и схватывает поясницу.

— Боцман... Злодей ты эдакий! — говорил он, не понимая, где это «заело».

— В блоке, должно, не пускает! — сердито отвечал боцман, продолжая потряхивать снасть.

Прошло еще несколько томительных секунд.

Фор-марсель не шел.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — произнес капитан страдальческим тоном, обращаясь к старшему офицеру.

Бедный старший офицер, страдавший, казалось, более всех, только сделал гримасу, точно от сильной зубной боли, и резко и раз-

драженно ответил:

— Сами видите, что такое!.. Позор!

И крикнул отчаянным тенором *di forza*: [7]

— На баке! Отчего фор-марсель не идет?

— Гордень заел! — ответил тоненькой фистулой Снежков.

— Очистить живей!

И старший офицер, не очень-то доверявший распорядительности Владимира Андреевича, хотел было бежать на бак, посмотреть, в чем дело, как вдруг сзади, с полуюта, — раздался такой пронзительный крик, который заставил и старшего офицера, и всех бывших вблизи невольно вздрогнуть.

— Э-э-э... о-о-о-о! — кричал адмирал, словно бы испуганный.

В этом бешеном крике, полном стихийного необузданного гнева, было что-то, напоминавшее грозный рев разъяренного зверя.

Когда крик прекратился, все бывшие на палубе «Резвого» в этот ясный сентябрьский день 186* года увидели зрелище, довольно странное для неморяков.

Почтенный сорокашестилетний адмирал, начальник эскадры, с налитыми кровью гла-

зами и сжатыми кулаками топтал бешено ногами свою фуражку, выделявая при этом самые невероятные танцевальные па.

Пляска эта, похожая на воинственную пляску краснокожих индейцев, как изображают ее в иллюстрациях, продолжалась несколько секунд.

Вслед за пляской адмирал поднял истоптанную фуражку, надел ее и, подбежав к капитану, возопил:

— Под суд!.. Ка-бак... Фор-марсель!.. Фор-марсель поднимайте!.. Под суд!.. И вас, и старшего офицера, и всех... Всех...

Но эти сравнительно мягкие слова разве могли облегчить его переполненное гневом сердце?..

И, точно негодуя, что нельзя облегчить душевную ярость более энергическими словами и сию же минуту отдать под суд и приговорить к расстрелянию капитана, на судне которого такой разврат, адмирал отскочил от Николая Афанасьевича и, перескакивая по несколько ступенек трапа, понесся сам на бак, раздражаясь ругательствами...

Все сторонились, давая дорогу адмиралу,

который с легкостью молодого мичмана бежал по палубе, прыгая через снасти. Офицеры скрывались за мачты. Гардемарины притаились на своих местах. Царила мертвая тишина на палубе, оглашаемая адмиральским криком.

Только среди матросов по временам слышался сдержанный шепот. Чуть, слышно кто-нибудь говорил соседу:

— Осерчал ведмедь... Ровно под микитки его хватили...

— И то: осрамился конверт.

— Накладет же он в кису тетке Авдотье!

Когда адмирал долетел до бака, позорно застрявшего фор-марселя уже не было. Он был поднят и, подхваченный с марса, растянут вдоль реи, к которой торопливо привязывали его лихие марсовые «Резвого», рассыпавшиеся по рее, по обе стороны марса, точно белые муравьи в своих белых штанах и рубахах.

Словно разъяренный бык, внезапно потерявший из глаз раздражавший его предмет и с разбега остановившийся, бешено и изумленно поводя глазами и ища, кого бы боднуть, адмирал гневно вращал белками, озира-

ьясь по сторонам. Около был только боцман, не спускавший с адмирала глаз. Но гнев адмирала искал офицера, и он крикнул:

— Где мачтовый офицер?

— Я здесь, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство! — скорее пролепетал, чем проговорил Владимир Андреевич упавшим голосом, прикладывая дрожащие пальцы к козырьку фуражки и показываясь из-за мачты, за которой прятался.

Что-то бесконечно жалкое, растерянное и испуганное было во всей его рыхлой, подавшейся вперед фигуре, в этом побледневшем полном лице, в этом дрожавшем, визгливом тенорке.

Адмирал уставился на Владимира Андреевича и, казалось, придумывал, что сделать с офицером, у которого не могли сразу поднять формарсея.

Прошло несколько мгновений. У тетки Авдотьи душа ушла в пятки, и он, как очарованная овца перед страшным удавом, впился ошалелым взором в выкаченные, метавшие молнии глаза адмирала.

Но, по-видимому, этот перепуганный и по-

бледневший лейтенант не возбуждал в адмирале ярости и желания растерзать его. Не такой человек нужен был в эту минуту его освидетельствованному превосходительству!

И, словно бы считая Снежкова недостойным быть предметом своего гнева, адмирал только смерил его с ног до головы уничтожающим взглядом и крикнул ему в упор не столько гневно, сколько презрительно:

— Баба! Баба!.. Баба-с!

И, круто повернувшись, пошел назад, чувствуя неодолимое желание что-нибудь сокрушить, кого-нибудь разнести вдребезги, так как грозовая туча, сидевшая в нем, была еще не разряжена.

Подходя к шканцам, он увидал Леонтьева, того самого невоздержного на язык мичмана, который еще сегодня утром в кают-компании проповедовал возмутительные вещи. Он стоял у грот-мачты с пенсне на носу и — казалось адмиралу — имел возмутительно спокойный и даже нахальный вид человека, воображающего о себе черт знает что.

«Ах он... скотина! Как он смеет?!»

И адмирал в ту же секунду возненавидел

мичмана и за его противные дисциплине мнения, и за его нахальный вид, олицетворявший распущенность офицеров, и за его равнодушие к общему позору на корвете. Но, главное, он нашел жертву, которая была достойна его гнева.

Отдаваясь, как всегда, мгновенно своим впечатлениям и чувствуя неодолимое желание оборвать этого «щенка», он внезапно подскочил к нему с сжатыми кулаками и крикнул своим пронзительным голосом:

— Вы что-с?

— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал официально-почтительным тоном мичман, несколько изумленный этим неожиданным и, казалось, совершенно бессмысленным вопросом, и, вытягиваясь перед адмиралом, приложил руку к козырьку фуражки и принял самый серьезный вид.

— Ничего-с?.. На корвете позор, а вы ничего-с?.. Пассажиром стоит с лорнеткой, а? Да как вы смеете? Кто вы такой?

— Мичман Леонтьев, — отвечал молодой офицер, чуть-чуть улыбаясь глазами.

Эта улыбка, смеющаяся, казалось, над бе-

шенством адмирала, привела его в иступление, и он, словно оглашенный, заорал:

— Вы не мичман, а щенок... Щенок-с! Щенок! — повторял он, потряхивая в бешенстве головой и тыкая кулаком себя в грудь... — Я собью с вас эту фанаберию... Научу, как служить! Я... я... э... э... э...

Адмирал не находил слов.

А «щенок» внезапно стал белей рубашки и сверкнул глазами, точно молодой волчонок. Что-то прилило к его сердцу и охватило все его существо. И, забывая, что перед ним адмирал, пользующийся, по уставу, в отдельном плавании почти неограниченной властью, да еще на шканцах [8], — он вызывающе бросил в ответ:

— Прошу не кричать и не ругаться!

— Молчать перед адмиралом, щенок! — возопил адмирал, наскакивая на мичмана.

Тот не двинулся с места. Злой огонек блеснул в его расширенных зрачках, и губы вздрагивали. И, помимо его воли, из груди его вырвались слова, произнесенные дрожащим от негодования, неестественно визгливым голосом:

— А вы... вы... бешеная собака!

На мостике все только ахнули. Ахнул в душе и сам мичман, но почему-то улыбался.

На мгновение адмирал ошалел и невольно отступил назад.

И затем, задыхаясь от ярости, взвизгнул:

— В кандалы его! В кан-да-лы! Матросскую куртку надену! Уберите его!.. Заприте в каюту! Под суд!

Мичман Леонтьев не дожидался, пока его «уберут», и спустился вниз, сопровождаемый сочувственными взглядами гардемарина Ивкова и кондуктора Подоконникова.

А бешеный адмирал взбежал на мостик и кричал, обращаясь к капитану:

— Полюбуйтесь, какие у вас офицеры... Позор... Вас под суд... Под суд... Тьфу! Кабак... Тьфу!

И, точно не находя слов и желая выразить полное презрение к судну, он яростно плюнул (за борт, однако) и бросился с трапа.

Громко стукнувшая дверь доложила, что адмирал ушел в каюту.

Там он рванул с себя сюртук так, что отскочили пуговицы, и, бросив его на пол, забегал,

точно раненый вверх в своем логове.

XIII

Минут через двадцать «Резвый» уж не имел вида оципанной птицы и, поставив все паруса, понесся, разрезывая волны, и нагонял «Голубчика».

Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз.

Мичман Щеглов, прозевавший шквал, совсем убитый, снова поднялся на мостик, вступая на вахту, и сконфуженно и виновато взглянул на капитана и старшего офицера, которые оба были мрачны и угрюмы после того, что произошло на корвете.

Особенно ему было стыдно перед Михаилом Петровичем, и Щеглов не мог не сказать ему:

— Я, право, не могу понять, как это случилось, Михаил Петрович!..

— Вперед не зевайте на вахте, батенька!.. Ну, нечего так отчаиваться!.. — прибавил он, заметив отчаяние Щеглова... — Со всяким может случиться грех.

— А адмирал не запретит мне стоять на вахте, Михаил Петрович? Ведь это было бы

ужасно...

— Не думаю... А впрочем, кто его знает... Сегодня он совсем бешеный! — заметил он, спускаясь вслед за капитаном вниз.

Все господа офицеры сидели в кают-компании, подавленные, удрученные и взволнованные и «позором» корвета, и адмиральским «ураганом», и, главное, судьбой этого отчаянного «Сереженьки», который решился назвать адмирала, да еще на шканцах, «бешеной собакой».

Что-то будет с бедным Леонтьевым?

— Непременно он его отдаст под суд, и Сереженьку разжалуют в матросы! — говорил Снежков, все еще не пришедший в себя несмотря на то, что сам он сегодня довольно-таки дешево отделался, скушавши только «бабу».

— Как вы думаете, Михаил Петрович, отдадут Леонтьева под суд? — обратился Снежков к старшему офицеру, который молча и угрюмо дымил папироской, сидя на своем почетном месте, на диване.

— А никак не думаю! — сердито отвечал старший офицер, желая избавиться от рас-

спросов и втайне, кажется, одобрявший поступок своего любимца.

— Если и не под суд, то, во всяком случае, выгонят со службы... Бедный Сергей Александрович! Ни за что пропала карьера человека!.. Вот и допрыгался! Я всегда говорил, что надо быть философом и не лезть на рожон... Ну, поорал бы и перестал... А теперь?.. Эй, вестовые! Подай-ка мне портерку! — приказал доктор.

Старший офицер искоса поглядел на доктора недовольным взглядом.

«Стыдно, дескать, упрекать товарища, да еще в беде!»

— А что адмирал с эскадры ушлет Сергея Александровича, это как бог свят! — вставил пожилой артиллерист...

— И то счастливо отделается...

— Дай-то бог, чтобы этим отделался... Только вряд ли... Подумайте: на шканцах!.. Недаром адмирал грозил матросской курткой... Ах, Сереженька! — участливо вздохнул Снежков. — Пойти его проведать...

— Нельзя-с! — резко промолвил старший офицер. — Он под арестом, и часовой у его ка-

ЮТЫ.

— А я вам скажу, господа, что ничего Сергею Александровичу не будет! — совершенно неожиданно проговорил старший штурман, доселе хранивший молчание.

Все, исключая старшего офицера, удивленно взглянули на штурмана, точно он сказал нечто несообразное.

— Что вы удивились?.. Я не наобум говорю... Я знаю адмирала... Слава богу, плавал с ним... И был случай, да и не такой, а поядовитее, можно сказать... Помните, Михаил Петрович, на «Поспешном» историю с Ивановым, штурманским офицером?

Михаил Петрович молча кивнул головой.

— Какая история? Расскажите, Иван Иванович! — обратилось несколько голосов к седенькому старичку.

— А история простая-с. Тоже взъерепенился адмирал однажды так же, как сегодня, только по другому поводу... Карту, видите ли, штурманский офицер ему не скоро подал... Ну, адмирал и осатанел, да и ругнул, знаете ли, его по-русски... А Иванов, хоть и штурман-с, маленький человечек, а все-таки имел

свою амбицию и не стерпел, да и ответил ему на том же русском диалекте-с...

И старый штурман одобрительно хихикнул.

— Ну и что же?

— А ничего... Адмирал спохватился и говорит: «Я не вас, а в третьем лице!» — «И я, — отвечал штурман, — в третьем лице, ваше превосходительство!» Тем все и кончилось... Никакого зуба не имел против него и, как следует, по окончании плавания к награде его представил... Он хоть и бешеный, но справедливый и добрый человек... Мстить из-за личностей не будет!.. Видно, не знаете вы, господа, адмирала! — заключил штурман.

Не знал его, конечно, и Леонтьев и, сидя под арестом в каюте, находился в подавленно-тревожном состоянии духа, вполне убежденный, что ему грозит разжалование. Как-никак, а ведь он совершил тягчайшее преступление, с точки зрения морской дисциплины. Положим, он был вызван на дерзость дерзостью «глазастого черта», но ведь суд не примет этого во внимание. Морской устав точен и ясен — разжалование в матросы.

И Леонтьев проклинал этого «башибузука», неизвестно за что набросившегося на него, проклинал и ненавидел, как виновника своего несчастья. И все-таки не раскаивался в том, что сделал. Пусть видит, что нельзя безнаказанно оскорблять людей, хотя бы он и был превосходный моряк... Пусть... его раздражают... Он и матросом запалит ему в морду, если адмирал станет позорить его человеческое достоинство...

И, вспомнив, как его, мичмана, называли «щенком», молодой человек стиснул зубы и инстинктивно сжал кулаки, охваченный негодованием...

О господи! Как еще утром он был весел и счастлив, и вдруг теперь из-за этого «бешеного животного», из-за этого «самодура» вся будущая жизнь его представляется каким-то мраком...

Молодой человек бросился на койку и пробовал заснуть, чтоб избавиться от грустных мыслей. Но, слишком взволнованный, он заснуть не мог и снова стал думать о своей будущей судьбе, о матросской куртке, об адмирале...

Прошел так час, как дверь его каюты отворилась, и вошел вахтенный унтер-офицер.

— Ваше благородие, вас требует адмирал.

«Чего еще ему надо от меня?» — подумал со злостью мичман и спросил:

— Где он? Наверху?

— Никак нет, в каюте!

Леонтьев вскочил с койки и, поднявшись наверх, вошел в адмиральскую каюту с мрачным и решительным видом на все готового человека, полный ненависти к адмиралу.

XIV

Взволнованный, но уже не гневным чувством, а совсем другим, беспокойный адмирал быстро подошел к остановившемуся у порога молодому мичману и, протягивая ему обе руки, проговорил дрогнувшим, мягким голосом, полным подкупающей искренности человека, сознающего себя виноватым:

— Прошу вас, Сергей Александрович, простить меня... Не сердитесь на своего адмирала...

Леонтьев остолбенел от изумления — до того это было для него неожиданно.

Он уже ждал в будущем обещанной ему матросской куртки. Он уже слышал, казалось, приговор суда — строгого морского суда — и видел свою молодую жизнь загубленной, и вдруг вместо этого тот самый адмирал, которого он при всех назвал «бешеной собакой», первый же извиняется перед ним, мичманом.

И, не находя слов, Леонтьев растерянно и сконфуженно смотрел в это растроганное, доброе лицо, в эти необыкновенно кроткие теперь глаза, слегка увлажненные слезами.

Таким он никогда не видал адмирала. Он даже не мог представить себе, чтобы это энергическое и властное лицо могло дышать такой кроткой нежностью.

И только в эту минуту он понял этого «башибузука». Он понял доброту и честность его души, имевшей редкое мужество сознать свою вину перед подчиненным, и стремительно протянул ему руки, сам взволнованный, умиленный и смущенный, вновь полный счастья жизни.

Лицо адмирала осветилось радостью. Он горячо пожал руки молодого человека и сказал:

— И не подумайте, что давеча я хотел лично оскорбить вас. У меня этого и в мыслях не было... Я люблю молодежь, — в ней ведь надежда и будущность нашего флота. Я просто вышел из себя, как моряк, понимаете? Когда вы будете сами капитаном или адмиралом и у вас прозевают шквал и не переменят вовремя марселя, вы это поймете. Ведь и в вас морской дух... Вы — бравый офицер, я знаю... Ну, а мне показалось, что вы стояли, как будто вам все равно, что корвет осрамился, и... буд-

то смеетесь глазами над адмиралом... Я и вспылел... Вы ведь знаете, у меня характер скверный... И не могу я с ним справиться!.. — словно бы извиняясь, прибавил адмирал. — Жизнь смолоду в суровой школе прошла... Прежние времена — не нынешние!

— Я больше виноват, ваше превосходительство, я...

— Ни в чем вы не виноваты-с! — перебил адмирал. — Вам показалось, что вас оскорбили, и вы не снесли этого, рискуя будущностью... Я вас понимаю и уважаю-с... А теперь забудем о нашей стычке и не сердитесь на... на «бешеную собаку), — улыбнулся адмирал. — Право, она не злая. Так не сердитесь? — допрашивал адмирал, тревожно заглядывая в лицо мичмана.

— Нисколько, ваше превосходительство.

Адмирал, видимо, успокоился и повеселел.

— Если вы не удовлетворены моим извинением здесь, я охотно извинюсь перед вами наверху, перед всеми офицерами... Хотите?..

— Я вполне удовлетворен и очень благодарен вам...

Адмирал обнял Леонтьева за талию и про-

шел с ним несколько шагов по каюте.

— Присядьте-ка...

И, когда мичман присел, адмирал опустился на диван и, после нескольких секунд молчания, произнес:

— И знаете ли, что я вам скажу, Сергей Александрович, не как адмирал, а как старший товарищ, поживший и повидавший более вашего. Не будьте слишком строги и торопливы в приговорах о людях. Я слышал, что вы сегодня утром говорили в кают-компании... Слышал, каким вы хотели быть адмиралом! — усмехнулся Корнев. — Но только вы все вздор говорили... Положим, я требователен по службе, школю всех вас, но будто уж я такой отчаянный деспот, каким вы меня расписывали, а?.. И знаете ли что? Не услышь я случайно вашего разговора, были бы вы сегодня на «Голубчике»! — неожиданно прибавил адмирал.

Леонтьев удивленно взглянул на адмирала, ничего не понимая.

— Я имел намерение вас перевести на «Голубчик», но после вашего разговора не перевел... А знаете ли почему?..

— Не могу догадаться, ваше превосходительство.

— Чтоб вы не подумали, будто я вас перевожу из-за того, что вы бранили своего адмирала... Теперь поняли?..

— Понял, — отвечал мичман.

— И я рад, что так случилось... Очень рад, что будем вместе. Вы, по крайней мере, убедитесь, что я не такой уж тиран... Поживете, увидите настоящих злых... адмиралов... Тогда, быть может, и вспомните добром такого, как ваш.

— Я никогда не забуду сегодняшнего дня, ваше превосходительство! — порывисто и с чувством произнес молодой человек. — Я никак не ожидал, что вы... так снисходительно отнесетесь к моему поступку... Я думал...

— Вы думали, что я в самом деле надену на вас матросскую куртку?.. Отдам вас под суд за то, что вы назвали меня «бешеной собакой»? — спросил, улыбаясь, адмирал.

— Признаться, думал, ваше превосходительство.

— Плохо же вы знаете своего адмирала! — с выражением не то грусти, не то неудоволь-

ствия промолвил адмирал. — А, кажется, меня нетрудно узнать... Я перед всеми вами весь, каков есть... Вот если бы вы осмелились послушаться моего приказания или были малодушный или нечестный офицер, позорящий честь флага, тогда я не задумался бы строго наказать вас... Не пожалел бы. А в военное время и расстрелял бы офицера-труса или изменника! — энергично воскликнул адмирал, сверкнув глазами и сжимая кулаки... — Но губить молодого мичмана, да еще такого славного, только за то, что он такой же бешеный, как и его адмирал, и на дерзость ответил дерзостью... Как вы могли, как вы смели об этом думать... А еще неглупый человек, и так мало понимать людей?! Нет, любезный друг, я не обращаю внимания на такие пустяки и из-за них никого не губил... Не в них дело... Не в этом дух службы... Этим пусть занимаются какие-нибудь мелочные люди... какие-нибудь торгоши адмиралы, не любящие флота...

И с обычной своей экспансивностью адмирал стал излагать свои взгляды на службу, на ее дух, на отношения начальника к подчи-

ненным, на связь, какая должна быть между ними. Разумеется, не обошлось без указаний на таких «незабвенных» моряков, как Нельсон, Лазарев, Нахимов и Корнилов...

Отпуская после этой интимной беседы молодого мичмана, адмирал сердечно проговорил:

— Помните, что во мне вы всегда найдете преданного друга... И впоследствии, если я вам могу быть в чем-нибудь полезен, идите прямо к прежнему своему адмиралу. Что могу, всегда сделаю... А сегодня прошу ко мне обедать... Вы любите поросенка с кашей?

— Люблю, ваше превосходительство.

— Так у меня сегодня поросенок о гречневой кашей! — весело проговорил адмирал.

Молодой мичман вышел из адмиральской каюты горячим поклонником беспокойного адмирала.

И спустя много лет, когда ему пришлось служить с более покойными «цензовыми» адмиралами новейшей формации, сколько раз и с каким теплым, благодарным чувством вспоминал он об этом «беспокойном» и жалел, что такого уже нет более во флоте...

— Эй, Васька! — крикнул адмирал, когда ушел Леонтьев, но крикнул как-то нерешительно, не так, как всегда.

Тот явился словно бы нехотя, еле передвигая ноги, недовольный и мрачный, с подвязанной черным платком щекой.

Адмирал покосился на подвязанную щеку, вспомнил, что, вернувшись в каюту после того, как бесился на палубе, он за что-то толкнул подвернувшегося ему Ваську, и виновато спросил:

— Ты щеку-то... зачем подвязал?

— Еще спрашиваете: зачем? — грубо отвечал Васька, зная, что адмирал теперь в таком настроении, что ему можно грубить безнаказанно. — Зачем?! Мне тоже даже довольно совестно показывать перед людьми свой срам...

— Какой срам?

— А синяк... В самый глаз давеча звезданули... Чуть выше — и вовсе глаза бы решился... И хоть бы за какую-нибудь вину... А то вовсе зря, из-за вашего бешеного характера...

Адмирал не ронял слова, и Васька, бросив быстрый лукавый взгляд своего неподвязанного глаза на адмирала, после паузы реши-

тельно проговорил:

— Как вам угодно, но только больше переносить от вас мук я не согласен. Это сверх сил моего терпения... Как, значит, придем в Нагасаки, извольте меня уволнить... Возьмите себе другого слугу.

— Кого я возьму? Что ты врешь там?

— Вовсе не вру... В Нагасаках дозвольте получить расчет.

— Ну, ну... не сердись... Не ворчи...

— Я не сержусь... Я знаю, что вы отходчисты, но все-таки обидно... Прямо в глаз!..

Адмирал вышел в соседнюю каюту и, вернувшись, подал Ваське большой золотой американский игль (в десять долларов) и сказал:

— Вот тебе... возьми... Не ворчи только...

Почувствовав в руке монету, Васька поблагодарил и после небольшого предисловия объявил, что он готов служить адмиралу. Он останется — разумеется, не «из антереса» («какой мне антерес?»), а только потому, что очень «привержен» к его превосходительству.

Проговорив эту тираду, Васька, однако, не уходил.

— Что тебе надо еще? — спросил адмирал.

— Маленькая просьбица, ваше превосходительство.

— Говори.

— Дозвольте взять ваше штатское пальтецо. Вы не изволите носить его. Оно зря висит... А я бы переделал.

— Бери.

— И пинжак у вас один совсем для адмиральского звания не подходит. А вашему камердинеру отлично бы! — продолжал Васька.

— Бери.

— Премного благодарен, ваше превосходительство.

— Большая ты каналья, Васька! — добродушно рассмеялся адмирал.

Васька осклабился, оскалил зубы от этого комплимента и вышел из каюты, весьма довольный, что «нагрел» адмирала, да еще за сравнительно пустой синяк, едва даже заметный.

И он немедленно же снял со щеки платок, надетый им специально для предъявления адмиралу больших требований после его гневного состояния, во время которого Вась-

ка, кажется, нарочно подвертывался под руку бушующего барина и получал, случалось, экстренные затрецины, чтобы после предъявить на них счет, разыгрывая комедию невинно обиженного человека.

И адмирал всегда откупался, так как, по словам Васьки, после того как отходил, бывал совсем «прост», и тогда проси у него что хочешь. Даст!

XV

Когда мичман Леонтьев появился в кают-компании, веселый и радостный, совсем непохожий на человека, собирающегося одеть матросскую куртку, — все поняли, что объяснение с адмиралом окончилось благополучно, и облегченно вздохнули, нетерпеливо ожидая сообщений Леонтьева.

По-видимому, более всех был рад за своего любимца старший офицер. Хоть он и не предвидел особых бед для дерзкого мичмана, но все-таки ждал неприятностей и думал, что Леонтьева вышлют с эскадры.

И его нахмуренное лицо озарилось доброй улыбкой, и маленькие близорукие глаза заискрились радостью, когда он спросил, уверенный по веселому виду мичмана, что все обошлось:

— Под арест, значит, уж не нужно, Сергей Александрович?

— Не нужно, Михаил Петрович, не нужно... Сегодня зван к адмиралу обедать.

— Обедать?! — воскликнул тетка Авдотья и совсем выкатил свои ошалелые глаза. —

Вот так ловко!

— И вы остаетесь на эскадре?

— В Россию не едете?

— И ничего вам не будет?

— Остаюсь... и ничего мне не будет! — отвечал на бросаемые ему со всех сторон вопросы молодой человек.

— Невероятно! — пробасил артиллерист.

— Удивительно! — счел долгом удивиться даже и доктор.

Штурман значительно и торжествующе улыбался: «Дескать, что я вам говорил?»

— Но, верно, он пушил вас, Сереженька?.. Здорово, а? — спрашивал Снежков.

— И не пушил... Знаете ли, господа, ведь мы совсем не знаем адмирала. Я только что сейчас его узнал... Какая справедливая душа! Какая порядочность! — восторженно восклицал мичман, присаживаясь у стола.

— Влюбилась в него теперь? — иронически заметил ревизор.

— Да, влюбился, — вызывающе проговорил молодой человек. — Влюбился и буду теперь стоять за него горой, и охотно прощаю ему и его крики, и минуты бешенства... Он —

человек! И я был болван, считая его злым и мстительным. Торжественно заявляю, господа, что был болван!

— Да вы расскажите толком, что такое случилось? Как это вы вдруг обратились в христианскую веру? — нетерпеливо заметил доктор.

— Рассказывайте, рассказывайте, Сереженька.

— Что случилось? А вот что: он извинился передо мной, и если б вы знали, как искренне и сердечно. Он... адмирал... Понимаете?

Эти слова вызвали общее изумление.

Действительно, господам морякам, привыкшим к железной дисциплине, трудно было понять, чтобы адмирал, получивший дерзость, мог первый извиниться. Он мог простить ее, но не просить прощения у подчиненного. Это казалось чем-то диковинным.

— И мало того, — порывисто продолжал мичман, — он понял, что я вызван был на дерзость его дерзостью, и не считает меня виноватым... Скажите, господа, многие ли начальники способны на это?.. Ведь надо быть очень порядочным человеком, чтоб посту-

пить так...

Когда Леонтьев подробно передал свое объяснение с адмиралом, в кают-компании раздались восторженные одобрения. Все решило, что хотя с беспокойным адмиралом и тяжело подчас служить и он бывает бешеный, но что он добрый и справедливый человек, достойный глубокого уважения.

И в этот самый день, когда адмирал бесновался как сумасшедший и после извинился пред мичманом, сказавшим ему дерзость, на «Резвом» незримо для всех крепла духовная связь между беспокойным адмиралом и его подчиненными, оставшаяся на всю жизнь добрым и поучительным воспоминанием о «человеке» — воспоминанием, которым — увы! — едва ли похвалятся современные адмиралы, вырабатывающие свои отношения к подчиненным лишь на безжизненной букве устава или на торгашеских правилах «ценза», хотя бы весьма корректные и никогда не увлекающиеся профессиональным гневом.

Пока в кают-компании шли разговоры об адмирале, он вышел из каюты и разгуливал взад и вперед по шканцам, кидая по време-

нам быстрые взгляды на рыжего мичмана Щеглова, стоявшего на мостике.

Расстроенный и подавленный вид молодого моряка возбуждал в адмирале участие. Он понимал, что должен был переживать молодой самолюбивый офицер, свершивший такое «преступление», как он. И это его отчаяние и вызывало в адмирале сочувствие и заставляло простить его вину, вселяя в адмирале уверенность, что моряк, так сильно потрясенный, уж более не прозевает шквала, и что, следовательно, отрешить его от командования вахтой, как он собирался, было бы напрасным лишним оскорблением и без того оскорбленного самолюбия.

И адмирал поднялся на мостик, подошел к Щеглову и как ни в чем не бывало спросил:

— Как ход-с?

— Десять узлов, ваше превосходительство!

В голосе мичмана звучала виноватая нотка.

Адмирал поднял голову, осмотрел паруса и заметил:

— Отлично-с у вас стоят паруса...

Этот комплимент, который в другое время

порадовал бы мичмана, теперь, напротив, заставил его только вспыхнуть. Он напомнил ему о парусах, потерянных по его вине, и казался ему какою-то насмешкой.

«Уж лучше бы он опять разнес и назвал прачкой!» — подумал мнительный и нервно настроенный моряк.

Адмирал, казалось, понял и это. Ему стало жаль молодого человека. И он мягко промолвил:

— Не следует падать духом, любезный друг... Вы получили тяжелый урок и, конечно, им воспользуетесь... Беда у всех возможна... И вам только делает честь, что вы так близко приняли ее к сердцу... Это доказывает, что в вас морская душа бравого офицера... Да-с!

Молодой мичман, все еще думавший, что ему место только в «прачках», ожил от этих ободряющих слов адмирала и в эту минуту желал только одного: чтобы на корвет немедленно налетел самый отчаянный шквал. Он показал бы и адмиралу и всем, как лихо бы он убрался.

Но горизонт со всех сторон был чист, и мичман мог только взволнованно прогово-

ритель:

— Я, ваше превосходительство, поверьте... заглажу свою вину... Вы увидите...

— Не сомневаюсь... И скажу вам, что на ваших вахтах я буду спокойно спать! — проговорил адмирал и спустился с мостика.

Мичман, не находя слов, благодарно взглянул на адмирала, оказывающего ему такое доверие, и окончательно почувствовал себя снова неопозоренным моряком, могущим оставаться на службе.

И адмирал не ошибся. Действительно, он мог потом спокойно спать на вахтах Щеглова, так как после этого дня на корвете не было более бдительного вахтенного начальника.

Ободряющие, вовремя сказанные слова отчаявшемуся молодому моряку сохранили флоту хорошего офицера и были убедительнее всяких выговоров и арестов и всего того мертвящего формализма, который особенно губителен во флоте.

Николай Афанасьевич долго кейфовал у себя в каюте и не показывался наверху, чтобы не встретиться с адмиралом.

Наконец он послал вестового за старшим

офицером, и когда тот присел в капитанской каюте, капитан спросил:

— Ну что, Михаил Петрович, адмирал отошел?

— Отошел, Николай Афанасьич... Только что с Леонтьевым объяснился и извинился перед ним.

Монте-Кристо пожал плечами и, улыбаясь, сказал:

— Сумасшедший!.. С ним ни минуты покоя... Значит, и нас с вами не отдаст под суд?

— Мало ли что он скажет...

— Ну и накричался же он сегодня... Уф! — отдувался Николай Афанасьевич. — И главное: почему, скажите на милость, наш корвет — кафешантан? — внезапно раздражился капитан, вспомнив обидные слова адмирала. — Что он нашел в нем похожего на кафешантан, а?.. Ведь это черт знает что такое...

— Осрамились мы сегодня, Николай Афанасьевич, надо сознаться.

— Да... все из-за Щеглова... И потом этот фор-марсель... Отчего его долго не несли?

— Подшкипер в спешке не мог его найти...

— Экая каналья... Но все-таки: почему же

кафешантан? Кажется, у нас корвет в порядке...

— Кажется, — скромно отвечал старший офицер.

— Нет, решительно с ним невозможно служить... Если он будет так продолжать, я, Михаил Петрович, попрошусь в Россию... Надоело... Но пока это между нами... «Распустил офицеров!»... Не ругаться же мне, как боцману... Что значит: «распустил»?..

Капитан еще несколько времени изливался перед старшим офицером и, когда тот ушел, снова улегся на диван и морщился при мысли, что после сегодняшних треволнений придется идти обедать к беспокойному адмиралу. Правда, обеды у него отличные и вино хорошее, но...

— Нет... почему кафешантан? — воскликнул снова Монте-Кристо и никак не мог сообщить, что этим хотел сказать адмирал.

XVI

Адмирал обедал в шесть часов. Стол у адмирала был обильный и вина превосходные. В море у него каждый день обедало человек десять. Кроме постоянных его гостей — командира, флаг-капитана и флаг-офицера, обедавших у адмирала ежедневно, приглашались: вахтенный начальник, вахтенные гардемарин и кондуктор, стоявшие на вахте с четырех часов до восьми утра и, по очереди, два или три офицера из числа остального персонала кают-компания. Довольно часто кто-нибудь приглашался и экстренно, не в очередь. По воскресеньям, случалось, адмирала приглашали офицеры обедать в кают-компанию.

Все на «Резвом» хорошо знали, что адмирал не любил, когда приглашенные являлись ранее назначенного времени. Он держался английских обычаев и допускал опоздание минут на пять, но никак не появление гостя хотя бы минутой раньше.

Вначале, когда еще не всем были известны эти «правила», один мичман, приглашенный к адмиралу, желая быть вполне корректным,

по его мнению, пришел в адмиральскую каюту минут за восемь и был принят далеко не с обычной приветливостью радушного и гостеприимного хозяина.

Молча протянул адмирал гостю руку, молча указал пальцем на диван, присел сам и, видимо, чем-то недовольный, упорно молчал, подергивая плечами и теребя щетинистые усы.

В отваге отчаяния гость решился завязать разговор и сказал:

— Отличная сегодня погода, ваше превосходительство...

Вместо ответа адмирал только покосился на мичмана и после паузы проговорил:

— А знаете ли, что я вам скажу, любезный друг?..

«Любезный друг», успевший уже изучить другие привычки «глазастого черта», взглянул на него с некоторой душевной тревогой.

И по тону, и по упорному взгляду круглых, выкаченных глаз адмирала гость предчувствовал, что адмирал, во всяком случае, не имеет намерения сказать что-либо приятное.

«Уж не хочет ли он перед обедом разне-

сти?»

И он мысленно перебирал в своей памяти все могущие быть за ним служебные вины, за которые могло бы попасть.

Адмирал, между тем проговорив обычное свое предисловие, остановился как бы в раздумье.

Так прошла еще секунда-другая тяжелого молчания. Гость чувствовал себя не особенно приятно.

Наконец адмирал, видимо, бессильный побороть желание выразить свое неудовольствие и в то же время придумывая возможно мягкую форму его выражения, продолжал:

— У вас, должно быть, часы бегут-с, вот что я вам скажу.

Молодой человек, совсем не догадывавшийся, к чему клонит адмирал, и несколько изумленный таким категорическим мнением о неверности его отличного «полухронометра», торопливо достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и поспешил ответить:

— У меня совершенно верные часы, ваше превосходительство... Без пяти минут шесть.

— А я, кажется, любезный друг, приглашал

вас обедать в шесть часов?

— Точно так, в шесть! — промолвил мичман, все еще не догадываясь, в чем дело.

— Так вы и должны были прийти ровно в шесть! — отрезал адмирал.

Мичман наконец догадался.

— Виноват, ваше превосходительство... я не знал... я уйду-с...

И с этими словами он стремительно сорвался с места, словно бы в диване оказалась игла, готовый немедленно исчезнуть.

— Куда уж теперь уходить! Садитесь! — приказал адмирал.

Сконфуженный молодой человек покорно опустился на диван.

И беспокойный адмирал, облегчив свою душу, тотчас же успокоился и заговорил уже более мягким тоном:

— Я позволил себе заметить вам, любезный друг, об этом для того, чтобы вы вперед знали, что если вас зовут в шесть, то и надо приходить в шесть.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Вот англичане деловой народ и понимают цену времени. У них принято являться в

назначенное время, ни минутой раньше. И это, по-моему, умно, весьма умно... А то хозяин может быть занят мало ли чем — бреется, например, а гость лезет не вовремя. Согласитесь, что это неделикатно. Наконец, хозяин просто может не быть дома до назначенного времени, а вы пришли и сидите один, как болван... Ведь это неприятно, а? Не правда ли?

— Совершенно верно, ваше превосходительство.

— А виноват не хозяин, а гость... Не приходи раньше времени. Надеюсь, вы согласны со мной?

Еще бы не согласиться!

И мичман поспешил выразить полнейшее согласие.

— А я все-таки рад вас видеть, очень рад, — любезно говорил адмирал, снова пожимая руку опешившему мичману. — Да что вы не курите?.. Курите, пожалуйста.

Нечего и прибавлять, что после такого внушения все господа офицеры, гардемарины и кондукторы «Резвого» стали неукоснительно держаться английских обычаев.

И в этот день, полный таких позорных неудач и еще не вполне пережитых волнений, разумеется, никто не осмелился явиться в адмиральскую каюту секундой раньше назначенного времени.

Один за другим являлись приглашенные к обеду моряки, приодевшиеся и прифранченные, как только что пробило шесть часов.

Монте-Кристо, румяный и представительный, с холеными черными усами и баками, в расстегнутом белом кителе и ослепительном жилете, обрисовывавшем изрядное брюшко, имел сегодня сдержанный, официально-серьезный вид недовольного человека, не забывшего, что корвет, которым он командует, назван кафешантаном.

Выражение его красивого лица, обыкновенно веселое и добродушное, было строго и внушительно и, казалось, говорило: «Я пришел сюда обедать потому, что того требует долг службы, а вовсе не по своему желанию».

И старший офицер Михаил Петрович, приглашенный по очереди вместе с доктором и старшим штурманом, был несколько угрюм. «Позорная» перемена фор-марселя до сих пор

волновала его морское самолюбие.

Зато белобрысый плотный доктор с гладко причесанными вперед височками весело и умильно посматривал на небольшой стол, уставленный соблазнительными закусками, предвкушая удовольствие хорошо покушать.

Старший штурман, человек вообще застенчивый, как-то бочком вошел в каюту, поздоровался с адмиралом и поскорей отошел в сторону и стоял с выражением той философски-спокойной покорности судьбе на своем серьезном, красноватом, морщинистом лице, какое обыкновенно бывает у штурманов — этих пасынков морской службы, — когда они находятся перед лицом начальства.

Владимир Андреевич Снежков, стоявший на вахте с четырех до восьми часов утра и потому обязанный обедать у адмирала, перекрестившийся несколько раз перед тем как войти в каюту, оправивший волосы и закрутивший свои рыжие усы, вошел весь красный, взволнованный и вспотевший, раскланялся с адмиралом и, почувствовав обычную робость, с ошалелым видом юркнул в кружок молодых людей, стоявших отдельно и тихо разго-

варивавших. Стоявшие с ним утреннюю вахту приземистый и лобастый гардемарин дядя Черномор и старавшийся подражать Базарову штурманский кондуктор Подоконников скрыли тетку Авдотью от глаз адмирала вместе с экстренно приглашенным мичманом Леонтьевым и гардемаринном Ивковым.

— Кажется, все? — проговорил адмирал, озираясь, когда в каюте появился Ратмирцев, как всегда элегантный, в своем адъютантском сюртуке с аксельбантами, чистенький, гладко выбритый, с прилизанными белокурыми волосами, с безукоризненными ногтями своих белых, холеных рук, на мизинцах которых блестело по кольцу, — внося вместе с собой душистую струйку духов.

— Все, ваше превосходительство! — поспешил доложить флаг-офицер Вербицкий.

— Покорно прошу, господа, закусить. Николай Афанасьевич! Пожалуйте... Михаил Петрович... Иван Иваныч... Доктор...

— Вы ведь померанцевую, Николай Афанасьевич? — особенно любезно спрашивал адмирал.

— Померанцевую, ваше превосходитель-

ство! — официально-сухим тоном отвечал Монте-Кристо, подходя к столу и чувствуя при виде обилия и разнообразия закусок, что у него текут слюнки и начинает уменьшаться обида на адмирала.

А адмирал, видимо ухаживая за Николаем Афанасьевичем, которого хотел отдать под суд, и словно бы желая особенным к нему вниманием заставить забыть его и «кабак», и «кафешантан», и вообще все бешеные выходки утра, сам налил сегодня капитану рюмку померанцевой и, подавая ее, проговорил:

— Сегодня Васька отыскал последнюю жестянку икры... Позвольте вам положить, Николай Афанасьич.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство.

Но адмирал уже наложил на тарелочку огромную порцию паюсной икры, величина которой как будто соответствовала внутренней потребности адмирала загладить свою несправедливость перед капитаном, который, при всех своих недостатках, все-таки был лихой моряк, и, передавая тарелочку, сказал:

— Не знаю, хороша ли? Вы ведь знаток, Ни-

колай Афанасьич...

Монте-Кристо опрокинул в себя рюмку водки и закусил икрой.

— Прелесть, ваше превосходительство! — проговорил Николай Афанасьевич, проглотивая кусок с видимым наслаждением.

И эта особенная внимательность адмирала, и превосходная икра, и вид всех этих вкусных закусок, возбуждавших в Николае Афанасьевиче самые приятные ощущения, заметно смягчили сердце мягкого и добродушного Монте-Кристо, и лицо его уже расплывалось в широкую, довольную улыбку, а его сузившиеся глаза зажглись плотоядным огоньком взятого гурмана и чревоугодника.

Он не просто ел, а как-то особенно — не спеша и смакуя, точно совершая торжественный культ чревоугодия.

— Еще рюмку, Николай Афанасьевич?.. Рекомендую вам русские грибки...

— Что ж, можно, ваше превосходительство... У вас померанцевая отличная... Не беспокойтесь, ваше превосходительство...

Адмирал уже налил рюмку и, обращаясь затем к своему флаг-офицеру, который заве-

довал его хозяйством и, к немалой досаде Васьки, закупал вина и другие запасы, сказал:

— Вербицкий! Смотрите, чтоб у нас всегда была померанцевая. Берегите ее для Николая Афанасьевича и не давайте ее пить гардемаринам... Молодые люди могут пить другую...

— Есть, ваше превосходительство!

Тронутый Монте-Кристо окончательно простил беспокойному адмиралу «кафешантан» и после грибков усердно занялся омаром под провансальским соусом...

— Иван Иваныч! Что ж вы одну рюмку? Наливайте себе другую! — обратился адмирал к старшему штурману.

— Не много ли будет, ваше превосходительство? — пошутил старый штурман, вливавший в себя ежедневно значительное количество портеру и марсалы совершенно безнаказанно, и, опрокинув изрядную рюмку водки, отошел в сторонку.

— А вам померанцевая тю-тю! — шепнул, смеясь, Ивков Подоконникову.

— Вы что там смеетесь, Ивков?.. Закусывайте.

— Я говорю, ваше превосходительство, что

померанцевая нам с Подоконниковым не по чину.

— Ишь, зубоскал! — рассмеялся адмирал... — Ваш чин, любезный друг, такой, что вы можете пить водку, какую вам дадут, и не больше одной рюмки... Ну, уж так и быть, налейте себе померанцевой...

— Да я никакой не пью.

— Чего ж вы хлопочете?

— Я за Подоконникова, ваше превосходительство. Он ее очень любит!

— Ну, так налейте Подоконникову... Он вот и сигары любит, и померанцевую, хотя ничего в них не понимает... А вы что же, Владимир Андреич, не закусываете? Пожалуйста к столу.

Лейтенант Снежков рванулся к столу, словно лошадь, получившая шенкеля.

— Какой вам налить, Владимир Андреич?

— Какой прикажете, ваше превосходительство, — ответил, весь краснея, тетка Авдотья.

— Однако? Тут пять сортов...

— Все равно-с, ваше превосходительство!

— Да ведь и мне все равно, какой вам налить! — нетерпеливо и раздражительно вос-

кликнул адмирал, который терпеть не мог неопределенных ответов.

Лейтенант совсем смутился и не знал, какую водку назвать. В горле у него точно пересохло. Глаза выкатились и смотрели совсем ошалело.

— Я... я, ваше превосходительство, — начал было он.

— Владимир Андреич пьет очищенную, ваше превосходительство! — поспешил выручить Снежкова старший офицер.

— Так бы и сказали, а то — «все равно»!.. А я налил бы вам другой... Не угодно ли? — говорил адмирал, подавая лейтенанту рюмку. — Да что ж вы не закусываете? — остановил его гостеприимный хозяин, заметив, что Снежков, проглотив рюмку, хотел снова юркнуть. — Прошу покорно... Да берите икру, Владимир Андреич... Кушайте икру! — почти приказывал беспокойный адмирал, увидав, что Снежков торопливо тыкал вилкой в тарелочку с селедкой. — Икра — редкая здесь закуска... Берите!..

Снежков уж поймал наконец кусок селедки, сунул его в рот, проглотил не жевавши и

потянулся к икре, посматривая в то же время на адмирала напряженно, растерянно и боязливо, точно сбитый с толку ученик на учителя.

— Пойдите, я вам положу, а то вы... вы ужасно копаетесь, Владимир Андреич, я вам скажу, и не дайте Аркадию Дмитричу выпить его любимого аллаша...

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, я успею! — изысканно-почтительно, отчеканивая слова, промолвил Ратмирцев и наклонил голову в знак благодарности за внимание к нему, слегка изогнувшись всем станом и приложив топкую белую руку к груди.

Все это он проделал необыкновенно красиво и изящно, словно бы показывая всем присутствующим, что значит человек с изящными манерами, и когда Снежков, получив из рук адмирала тарелочку, отскочил наконец от стола, обливаясь потом и красный как рак, точно выйдя из бани, Аркадий Дмитриевич налил себе крошечную рюмку аллаша, взял ее двумя пальцами, грациозно отставив остальные, и не спеша выпил, закусил кро-

шечным кусочком икры и отошел назад.

— Это, верно, так полагается по-придворному? — шепнул Ивков своему приятелю.

— Противно на него смотреть! И ведь как задается! [9] — отвечал Подоконников.

— Удивляюсь, Аркадий Дмитрич, как вы любите такую дрянь, — как аллаш! — неожиданно заметил адмирал.

— У всякого свой вкус, ваше превосходительство...

— То-то я и удивляюсь вашему вкусу... А впрочем, в Петербурге многие гвардейцы любят этот аллаш. Вот Иван Иваныч, я полагаю, так не любит, а?

— Я, ваше превосходительство, люблю, чтобы водка — так водка... Горечь чтобы была-с, — отвечал старый штурман, посматривавший на «наперсток» Ратмирцева и на него самого с чувством глубочайшего тайного презрения, как на человека совершенно пустого, заносчивого и неспособного.

— Не смею спорить, ваше превосходительство, особенно с таким авторитетным человеком в этом деле, как почтеннейший Иван Иванович, — проговорил любезно-мягким то-

ном «придворный суслик», взглядывая на старого штурмана с снисходительно-любезной небрежностью, как на человека совершенно другой и низшей расы. Ратмирцев искренне был убежден, что штурман — это нечто мизерное и терпимое только в море.

Старый почтенный штурман, всю жизнь свою честно тянувший лямку и пользовавшийся уважением и адмирала, и всех своих сослуживцев, понял, конечно, и этот намек на то, что он любит выпить, почувствовал и этот высокомерный взгляд, но ничего не ответил. «Не стоит, дескать, связываться!»

И словно бы желая показать, что не обращает ни малейшего внимания на намек Ратмирцева, подошел к столу и налил себе третью рюмку водки.

— И я с вами, Иван Иванович! — весело сказал капитан.

— Вистнете-с, Николай Афанасьич?

— Вистну!..

Адмирал продолжал угощать и всем накладывать икры, хотя и не в таком количестве, как капитану и старшему офицеру, и был, видимо, доволен, что и Николай Афана-

сьевич, и старший офицер как будто на него не сердятся.

— Прошу садиться, господа! — весело проговорил он, когда Васька и его подручный, молодой вестовой Гаврилов, оба в белых нитяных перчатках, расставили тарелки с супом.

По правую руку адмирала сел Николай Афанасьевич, а по левую Ратмирцев, затем старший офицер, старший штурман, доктор и остальные. Молодежь сидела на «баке», то есть на другом конце стола, где прямо против адмирала сидел флаг-офицер, на обязанности которого было, между прочим, разрезывать птицу, когда таковая подавалась на жаркое, и наливать гостям на «баке» вино.

Обед был превосходный, особенно принимаемая в соображение, что «Резвый» уже две недели был в море. После супа с пирожками была подана консервованная лососина, превосходно приготовленная с разнообразным гарниром. Адмирал зорко следил, чтобы все ели, и часто кричал Вербицкому, что около него у гостей пустые рюмки.

И за обедом адмирал видимо особенно уха-

живал и за Николаем Афанасьевичем, и за старшим офицером, то и дело подливая и тому и другому вина в различные рюмки, красовавшиеся у приборов и прежде, бывало, сбивавшие с толку многих гардемарин, пока адмирал не научил их, какое вино и в какие рюмки следует наливать.

Когда подали поросенка с гречневой кашей, Монте-Кристо, уже слегка размякший после нескольких рюмок хереса, портвейна и красного бургонского, совершенно забыл о «кафешантане» и о своем намерении проситься в Россию, тем более что адмирал весьма кстати вдруг припомнил, как однажды у них на корабле «Наварине», которым командовал сам Павел Степанович Нахимов, на глазах у всей эскадры долго не могли переменить марселей.

— Шкипер, каналья, виноват был...

— И что же, ваше превосходительство, Павел Степанович задал такую же гонку, как и вы нам сегодня? — спросил, улыбаясь, Монте-Кристо.

— А вы все еще не забыли?.. Экий злопыхатный! Ну, мало ли иногда что бывает?.. Раз-

ве сами-то вы сегодня не сердились в душе... Разве вам не было обидно-с?.. Спросите-ка у Михаила Петровича, как ему досадно было... Не так ли, Михаил Петрович?..

— Совершенно верно, ваше превосходительство...

— То-то и есть... Мы, моряки, всё слишком горячо принимаем к сердцу... в этом-то и сказывается любовь к делу, хоть часто мы и беснуемся из-за пустяков... Но и пустяки иногда важны... да-с... Эй, Васька! Подавай еще поросенка Сергею Александровичу... Он любит поросенка с кашей... Кушайте, Сергей Александрович!..

Разговоры оживились к концу обеда. Адмирал рассказал, как однажды в Черном море два капитана держали пари на легавого щенка, кто скорей снимется с якоря.

— Так что бы вы думали сделал Ивков, покойный брат нашего зубоскала?..

— А что, ваше превосходительство?

— Видит он, что шкуна, с командиром которой он держал пари, его обгоняет, все гребные суда подняла, а у него еще баркас не поднят... Он, чтобы выиграть время, велел баркас

утопить, оставив на месте буюк, поднял якорь, поставил паруса и был таков на своем тендере... щенка-то и выиграл... После уж он сам признался, на какой пошел фокус... Фокус-то фокусом, а находчивость... Такой командир и с неприятелем найдется... Вот что значит — школа черноморская...

В свою очередь, и Монте-Кристо рассказал, как они на фрегате «Коршун» «втирали очки» одному адмиралу.

После пирожного адмирал попросил всех пересесть на диваны. Подали ликеры и кофе.

Адмирал взял под руку Николая Афанасьевича и, отводя его в сторону, тихо сказал:

— А вы уж со Щеглова не взыскивайте, Николай Афанасьич... прошу вас... Он и так наказан... И вообще... на меня не сердитесь... Мало ли что скажешь... Я ведь знаю, что корвет у вас в порядке...

Монте-Кристо ушел от адмирала примиренный с ним. Скоро и адмиралу пришлось убедиться, что Монте-Кристо в критические минуты — образцовый капитан, и это заставило адмирала снисходительнее относиться к его недостаткам.

Когда вслед за капитаном все стали откланиваться, адмирал, веселый и довольный, благодарил всех за посещение и, когда к нему подошел Леонтьев, крепко пожал ему руку и сказал:

— Так мы теперь друзья, не правда ли?

— Друзья, ваше превосходительство! — отвечал, улыбаясь, Леонтьев.

XVII

На корвете все, кроме вахтенных, крепко спали.

Был второй час чудной южной лунной ночи. «Резвый» бесшумно неся вперед, неся почти все паруса.

Мичман Леонтьев, стоявший на вахте, шагал по мостику, зорко поглядывая по сторонам и изредка покрикивая:

— Вперед смотреть!

Вдруг на мостике внезапно показалась фигура адмирала. Он был заспанный, в кителе и в туфлях, одетых на босую ногу.

Постояв минуту-другую, он подошел к Леонтьеву и тихо сказал:

— Вызовите барабанщика, да чтобы без шума.

— Есть!

Через минуту явился барабанщик.

— Пожарную тревогу! — приказал адмирал.

Раздалась тревожная, призывная, долго не умолкавшая дробь.

И не прошло и двух минут, как весь корвет

ожил. Раздался топот сотен ног, доносились окрики боцманов. Все стремглав летели по своим местам. Еще минуты две, и все палубы были освещены, все брандспойты готовы, и крьюйт-камера в несколько мгновений могла быть затоплена.

Испуганные выскочили капитан и старший офицер, спрашивая у Леонтьева, в каком месте пожар.

— Нигде... Адмирал, — тихо произнес он, указывая на адмирала.

— Ну, пойдёмте, господа, посмотрим, — сказал адмирал, обращаясь к капитану и старшему офицеру, — как мы приготовились к пожару... Собрались люди молодцами, как следует на военном судне!

Адмирал в сопровождении капитана и старшего офицера обошел весь корвет. Все было найдено им в образцовом порядке. Все люди по местам. Все инструменты в исправности.

Поднявшись наверх, адмирал приказал поставить команду во фронт и, обходя фронт, благодарил матросов.

— Рады стараться, ваше-ство! — раздалось

среди океана.

Затем адмирал велел собраться всем офицерам на шканцах и сказал:

— Видно, что исправное военное судно... От души благодарю вас, Николай Афанасьевич, и вас, Михаил Петрович, и всех вас, господа... Аркадий Дмитриевич!.. Завтра отдайте приказ по эскадре! Спокойной ночи! Распустите команду.

С этими словами адмирал скрылся.

Через пять минут на корвете снова царила тишина, и «Резвый» разрезал своей грудью океанские волны, по-прежнему безмолвный и, казалось, заснувший.

XVIII

Через несколько дней «Резвому» пришлось выдержать жесточайшую «трепку».

Это была одна из тех, по счастью, редких трепок, которые наводят ужас даже на самых опытных и бесстрашных моряков и не забываются ими во всю жизнь. Особенно отзываются они на капитанах. Они, сознающие, что от их находчивости, умения и энергии зависит жизнь сотен людей, переживают ужасные часы в страшном напряжении нервов и, случается, нередко в одну ночь сидят и преждевременно стареются. Вспоминая о таких испытаниях впоследствии, они обыкновенно становятся серьезны и говорят:

— Да, трепануло-таки нас порядочно!

Но, разумеется, слушатель-неморяк и не догадается, сколько скрыто драмы в этих немногих словах и сколько пережито было в такие дни или ночи.

«Резвый» приготовился к встрече тайфуна под штормовыми парусами, но дьявольский шторм продолжался двое суток.

В течение этого времени капитан «Резво-

го» спал несколько часов, — вернее, не спал, а дремал тут же наверху, в штурманской рубке, и после снова поднимался на мостик. Напряженный и страшно серьезный, Монте-Кристо лично распоряжался управлением «Резвого», командуя рулевым и зорко наблюдая, чтобы громадные валы не залили корвет, метавшийся с болезненным скрипом среди разъяренных волн.

Положение было серьезное.

Бывали минуты, — и эти минуты сознавались всеми, — когда «Резвый», казалось, изнемогал в этой долгой борьбе с озверевшей стихией. Малейшая неосторожность со стороны капитана, потеря присутствия духа — и корвет мог бы погибнуть. Это чувствовалось всеми... это написано было на бледных лицах матросов, в широко раскрытых глазах, устремленных на мостик...

Но Монте-Кристо, словно бы весь преобразенный, хладнокровный и решительный, страшно напряженный и совсем не похожий теперь на легкомысленного, веселого и ленивого жуира, полный энергии и сил, неустанно и внимательно следил за каждым движением

«Резвого», направляя его вразрез волнам и уклоняясь от их нападений.

Необыкновенно яростный порыв освирепевшей бури, достигшей, по-видимому, своего апогея, повалил грот-мачту. Она с треском закачалась, склонилась и упала на подветренный борт. Корвет лег на бок. Минута была критическая.

— Очистить скорей! — громовым голосом крикнул капитан в рупор.

Старший офицер Михаил Петрович уже был там, у свалившейся мачты. Несколько ударов топоров, и мачта, освобожденная от вант, была за бортом.

Корвет снова поднялся, и лицо Монте-Кристо, напряженное до последней степени, прояснилось.

— Слава богу!.. — невольно прошептал он. И губы его вздрагивали.

Беспокойный адмирал, выдавший на своем веку виды, был угрюмо-спокоен. Он тоже не покидал мостика и стоял, уцепившись за поручни, безмолвный, ни разу не вмешиваясь в распоряжения капитана. Они были безукоризненны, и адмирал за эти два дня, внут-

ренне любуясь Монте-Кристо, вполне убедился в том, что Николай Афанасьевич лихой и энергичный капитан, особенно в критические минуты, и что он, этот сибарит и жуир, сумеет умереть рыцарем долга, если бы пришлось.

И два штормовые дня сблизили эти две противоположные натуры. Беспokoйный адмирал проникся невольным уважением к мужественному и лихому капитану и прощал все его недостатки.

Не раз предлагал он ему спуститься вниз и отдохнуть.

— Я за вас постою, Николай Афанасьич... Вы утомились.

— Место капитана здесь, на мостике, и я его не оставлю, пока корвет в опасности! — отвечал Монте-Кристо.

И голос его звучал энергией. И тон его был совсем не такой, каким он говорил обыкновенно о адмиралом. В нем было что-то властное и сильное, словно бы подчеркивающее, что он — капитан и на нем лежит вся ответственность за судно и за экипаж.

Зато адмирал то и дело посылал за Вась-

кой и приказывал ему приносить наверх разные закуски и вина для Николая Афанасьевича, чтобы он подкрепился. Но Монте-Кристо был слишком нервно напряжен и не ощущал голода. Он в эти два дня довольствовался несколькими галетами, которые запивал портвейном.

Когда наконец к концу второго дня шторм стал затихать и корвет был вне опасности, капитан попросил Михаила Петровича его сменить на мостике и, отдав приказание вахтенному начальнику не будить его без особенной надобности, спустился наконец с мостика.

Лицо его осунулось и, казалось, постарело. Впавшие глаза, уже не горевшие блеском возбуждения, были утомлены и безжизненны. Вся его фигура казалась какою-то вялою и ленивою, нисколько не напоминавшею ту энергичную, которая пленяла всех еще несколько минут тому назад.

— Не хотите ли закусить, Николай Афанасьич? Я велю сейчас подать вам! — предложил адмирал, только что вышедший из каюты.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство. Я ничего не хочу...

— Не прислать ли вам чего-нибудь в каюту, Николай Афанасьевич, а? Ведь вы ничего не ели? Есть недурная ветчина, омары, че-стер, страсбургский пирог, копченая лосо-сина. И у меня сохранилась одна бутылка пре-восходной редкой мадеры... Я получил в пода-рок несколько бутылок этого вина в прошлое плавание, когда был на Мадере... Одна бутыл-ка осталась... Позвольте вам прислать.

— Если позволите, завтра, ваше превосхо-дительство, я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением, а теперь я смертельно хочу спать.

— Ну, идите... идите... Только позвольте вам сказать, Николай Афанасьич, что я, как моряк, все время любовался вашими распоря-жениями и гордился, что у меня в эскадре та-кой капитан. Да-с. Только с такими команди-рами, как вы и как командир «Голубчика», можно было выйти с честью из такого ана-фемского шторма, и я считаю своим долгом горячо благодарить вас за спасение корвета и людей! — взволнованно проговорил адмирал

и как-то особенно сердечно и крепко пожал руку Монте-Кристо. — Такие дни не забываются! — прибавил он. — Спокойной ночи. Выспитесь хорошенько. Завтра, если стихнет, разведем пары и к вечеру будем в Нагасаки.

Монте-Кристо был польщен словами адмирала, но ничего на них не ответил и торопливо спустился в свою каюту.

— Уф! — облегченно и радостно вздохнул он при виде чистой и свежей постели, которая в эти минуты составляла единственный предмет его желаний. Ничего другого не существовало для него. Он точно забыл все, что только что произошло, все, что он пережил в эти двое суток... Нервы словно бы притупились...

И он, обессиленный, раздетый вестовым, с наслаждением бросился на мягкую койку и в ту же минуту заснул как убитый.

XIX

К утру следующего дня значительно стихло. Ветер ослабевал. Черные клочковатые тучи чернели на горизонте, и из-за перистых облачков то и дело показывалось ослепительное жгучее солнце. Старший штурман Иван Иванович уже поспешил взять высоты, чтобы сделать астрономические вычисления и точно определиться. И то два дня без наблюдений. Это его смущало.

Покачиваясь на затихавшем, но все еще сильном волнении, «Резвый» и «Голубчик» шли в близком расстоянии друг от друга, попыхивая дымком из своих белых труб, оба сильно пощипанные бурей. Каждого из них шторм покалечил, и они напоминали раненых птиц. На «Резвом» не было грот-мачты и утлегаря (оконечность бугшприта), снесен с боканцев капитанский катер и проломлен борт. «Голубчик» потерял фок-мачту, все свои шлюпки, и верхняя рубка сильно пострадала.

Машины на обоих судах работали полным ходом, и корвет и клипер, буравя своими винтами, шли узлов по семи, по восьми, направ-

ляясь в Нагасаки, до которого было не более ста миль.

Там, в затишье спокойной гавани, можно будет основательно исправить все аварии: поставить и вооружить новые мачты и достать новые шлюпки, а пока на обоих судах залечивали раны домашними средствами на случай нового нападения врага.

К подъему флага на «Резвом» и на «Голубчике» взамен потерянных мачт уже стояли так называемые «фальшивые», на которых можно было держать, в случае крайности, легкую парусность, и проломленные борты были заделаны. Работали всю ночь, и Михаил Петрович, конечно, не смыкал глаз.

В семь часов адмирал вышел наверх и довольным взглядом оглядел «Резвого» и потом «Голубчика». Оба они, хотя и пощипанные, все-таки сохраняли внушительный вид исправных военных судов.

Адмирал приказал сигналом спросить «Голубчика», какие у него повреждения и нет ли сильной течи.

Ответные сигналы перечислили повреждения и сообщили, что течи нет.

Адмирал удовлетворенно улыбался, разгудывая по юту. Он думал теперь, к какой бы награде представить этих двух лихих капитанов и заставить адмирала Шримса уважить его представление. И он уже заранее волновался при мысли, что этот Шримс, не имеющий понятия о морском деле, может не исполнить его ходатайство и оба капитана не будут отличены, как следует. Волновался и решил, что он, в случае отказа, напишет ему такое письмо... такое...

В эту минуту адмирал вспомнил, что он еще не поблагодарил командира «Голубчика» за шторм, и сказал вахтенному офицеру:

— Сергей Александрович! Прикажете поднять сигнал, что я изъясляю командиру «Голубчика» свое особенное удовольствие.

— Есть! — отвечал мичман Леонтьев.

— Да отчего это Вербицкого нет, а? Адмирал наверху... семь часов... а флаг-офицер спит... Пошлите за ним! — вдруг раздраженно крикнул адмирал.

Но, увидав поднявшегося на мостик старшего офицера, он снова просветлел и, пожимая Михаилу Петровичу руку, проговорил:

— Доброго утра, Михаил Петрович... Очень рад вас видеть и не могу не сказать, что вы меня даже удивили...

— Чем, ваше превосходительство? — спросил, недоумевая, старший офицер.

— Еще спрашивает! — улыбнулся адмирал... — Так быстро исправить повреждения и поставить мачту... это... это... делает большую честь старшему офицеру... Ну, да ведь мы с вами старые приятели... Я вас давно знаю... А все-таки... удивили, Михаил Петрович. Ну что, у нас течи не показалось после вчерашнего?..

— Нет, — отвечал Михаил Петрович и покраснел, видимо, польщенный словами адмирала, который действительно понимал и умел ценить работу подчиненных, потому что и сам умел работать, и в свое время был образцовым старшим офицером.

— Хорошо построенное судно, крепкое судно. Шторм ведь был серьезный.

— Довольно серьезный, ваше превосходительство! — подтвердил старший офицер.

— А как с ним справился Николай Афанасьевич... Да-с! Он показал всем, что значит

лихой капитан в критические минуты! Какой глаз... Какое хладнокровие... Какое уменье!

— Николая Афанасьевича надо видеть во время штормов, чтобы вполне оценить и понять его, ваше превосходительство!

— А вы думаете, я не ценю его, а? С таким капитаном, как он, да с таким старшим офицером, как вы, я куда угодно пойду-с... Вы дополняете друг друга, вот что я вам скажу, любезный друг... Ведь — что уж греха таить — Николай Афанасьич с ленцой и в тихую погоду любит больше кейфовать... Зато вот эти два дня... Кстати, прикажите его вестовому не будить его к флагу... Пусть высыпается.

— Слушаю-с...

— Да и вам надо отдохнуть, Михаил Петрович. Глаза-то красные.

— Успею, ваше превосходительство... В Нагасаки отосплюсь.

— А вы, Вербицкий, почему это до сих пор спали, а? Вследствие каких таких трудов? — обратился адмирал к своему флаг-офицеру ворчливым и в то же время добродушным тоном.

Шустрый мичман, хорошо изучивший сво-

его адмирала, понял, что настроение его не предвещает разноса, и потому храбро соврал:

— Я и не думал спать, ваше превосходительство.

— Что же вы делали?

— Читал, ваше превосходительство.

— Это видно по вашим сонным глазам... Ишь ведь... Всегда хочет вывернуться... Всегда у него наготове ответ! — засмеялся адмирал и шутливо погрозил мичману пальцем.

— А Аркадий Дмитрич тоже читает? — насмешливо спросил адмирал.

— Аркадий Дмитрич нездоров, ваше превосходительство.

— Что с ним? Укачало, видно?

— Точно так. Эти два дня Аркадию Дмитриевичу было так нехорошо, что Аркадий Дмитриевич даже и не душился, ваше превосходительство! — с самым серьезным лицом проговорил Вербицкий, зная, что лишняя шутка над флаг-капитаном может только быть приятной адмиралу.

Действительно, адмирал рассмеялся детским громким смехом...

— Даже и не душился?! Ха-ха-ха!.. Вот по-

правится Аркадий Дмитрич, я ему скажу, как вы, Вербицкий, определяете серьезность его болезни. Так не душился?

— Никак нет, ваше превосходительство... Я заходил к Аркадию Дмитричу и третьего дня, и вчера...

— Что ж он, отлеживался?

— Отлеживался и про себя читал акафисты пресвятой богородице и Николаю-угоднику, ваше превосходительство.

Адмирал снова засмеялся.

— Ну, довольно вам зубоскалить, Вербицкий... Аркадий Дмитрич религиозный человек... ну и читает акафисты... Не беспокойте его сегодня... Пусть отдохнет после шторма... А вы вот что: сегодня чтобы обед был по вкусу Николая Афанасьича... Вы знаете, что он особенно любит?

— Постараюсь догадаться, ваше превосходительство.

— Догадайтесь, и чтобы Николай Афанасьич был доволен обедом... И Михаил Петрович тоже. Надеюсь, вы не откажетесь, Михаил Петрович, откусать сегодня у меня?

Михаил Петрович поблагодарил адмирала.

— Ну, а теперь узнайте, Вербицкий, отчего Васька не докладывает, что готов кофе. Что он морит меня голодом, каналья? Шуганите его хорошенько.

Шустрый флаг-офицер хотел было ринуться со всех ног исполнять адмиральское приказание, как в ту же минуту на полуюте показалась маленькая заспанная фигурка адмиральского камердинера в красной жокейской фуражке.

Он подошел, не особенно спеша, к адмиралу и, галантно приподнимая фуражку с своей черной кудластой головы, проговорил:

— Пожалуйста кофе кушать.

— Копаешься! — воркнул адмирал.

— У меня не десять рук, а всего две! — огрызнулся Васька и пошел назад.

— Ишь ведь bestия! Поздно встал и... прав! — проговорил, улыбаясь, адмирал. — Вербицкий! Пожалуйста ко мне кофе пить! — приказал он и спустился с юта, сопровождаемый флаг-офицером.

— А ведь этот мальчик карьеру сделает, Михаил Петрович! — заметил Леонтьев.

— А что ж, пусть делает! — равнодушно

промолвил старший офицер.

— И если будет нужно, продаст этого самого адмирала, перед которым лебезит.

— И это возможно.

— Удивляюсь, как адмирал его не раскусил...

— А быть может, и раскусил... да привык к нему. Привычка, батюшка, большое дело... А кроме того, Вербицкий прирожденный флаг-офицер, ну и способный малый — этого отнять у него нельзя.

— Несимпатичный... карьерист...

— А вам, Сергей Александрович, хочется, чтобы все были симпатичны?.. Какой еще вы юный, однако, батенька! — ласково улыбнулся Михаил Петрович своими маленькими, покрасневшими глазами в очках и прибавил: — Пойду-ка и я напьюсь чайку... Ужасно устал, признаться. После восьми часов и я закачусь спать... Всю ночь не спал из-за этих починок.

В начале шестого часа, когда солнце быстро клонилось к закату, «Резвый», имея в кильватере «Голубчика», входил в прелестную бухту Нагасаки, живописно расположенного

в ее глубине.

Все были наверху, и на корвете царила торжественная тишина, обычная при входе военного судна на рейд, да еще в чужие люди.

На рейде стояли четыре русских военных судна, два корвета и два клипера, принадлежащие к составу эскадры Тихого океана, которым было приказано собраться в Нагасаки и там ждать адмирала, и несколько военных судов других наций.

Едва только «Резвый» под контр-адмиральским флагом на крьюйс-брам-стеннге показался в виду эскадры, как со всех судов раздался салют адмиральскому флагу, и на «Резвом» тотчас же последовал ответ. Вслед за тем салютовали и иностранные суда, и им тоже отвечали.

Когда рассеялся дым от выстрелов, «Резвый» бросил якорь, и все шлюпки были спущены. «Голубчик» стал рядом.

Как только отдан был якорь, со всех судов отвалили гички и вельботы с командирами, которые спешили к адмиралу с рапортами. У всех были щегольские шлюпки. Только командир «Голубчика» приехал на своей един-

ственно уцелевшей маленькой четверке.

Один за другим входили капитаны в полной парадной форме на «Резвый», встречаемые караулом, и, несколько напряженные и взволнованные, проходили в адмиральскую каюту.

Адмирал принимал всех приветливо, расспрашивал о плавании, о состоянии судов, обещал побывать на всех судах и пригласил капитанов обедать «ровно в шесть». И так как возвращаться на свои суда было поздно, то все капитаны собрались в капитанской каюте и в ожидании обеда были гостями радушного Монте-Кристо, который немедленно приказал вестовому подать разных вин и предложил всем выпить по рюмке, по другой «на черنو».

Нечего и говорить, что главной темой разговоров были общие расспросы о шторме, об адмирале и об его предположениях. Куда и кого он пошлет? Не слышно ли, какие суда возвращаются в Россию?

Насчет шторма Монте-Кристо не вдавался в большие подробности.

— Трепануло изрядно, ничего себе, — гово-

рил он, разливая в бокалы шампанское, — грот-мачту, как видите, потеряли. А куда кто идет — разве адмирал сообщает! Этого и Аркадий Дмитрич не знает! — засмеялся Монте-Кристо.

— И меня он не посвящает в свои предположения! — вставил флаг-капитан.

— Да и не все ли равно, господа, узнать днем позже, днем раньше, кто куда идет... Я и сам не знаю, куда мы идем: в Австралию или на Ситху... Аркадий Дмитрич говорил, что в Австралию...

— Адмирал как-то сказал...

— А я не удивлюсь, если он вздумает вдруг идти в Берингов пролив...

Все рассмеялись.

— От него всего можно ожидать! — заметил кто-то.

— То-то и есть... А вот вы, господа, лучше расскажите, нет ли чего в Нагасаки новенького. Это, право, интереснее.

— Чего новенького?..

— Как чего?.. Неужели здесь одна и та же «королева Гортензия», что была в прошлом году?.. Неужели придется опять ухаживать за

японками?..

— Вы вот насчет какого новенького!.. Так вас можно порадовать... На днях приехали три француженки...

— Вот это дело... Каковы они?..

Один неказистый, толстенький и низенький, совершенно лысый капитан стал подробно описывать достоинства француженок. Другой, помоложе, вступился за честь японок и хвастал своей нанятой на месяц женой [10], и скоро разговор почтенных и солидных капитанов принял несколько одностороннее и игривое направление.

Решено было, что все капитаны отправятся сегодня же вечером знакомить Монте-Кристо с француженками.

Тем временем адмирал внимательно оглядывал убранство стола и говорил Вербицкому:

— Смотрите не осрамите меня с обедом... Довольно ли всего?

— Довольно, ваше превосходительство...

— Какой обед?

— Суп с пирожками, ветчина... Николай Афанасьич любит.

- Дальше?
- Индейки!..
- Сколько?
- Четыре.
- Хватит на двадцать человек?
- Хватит... Индейки большие, ваше превосходительство. Горошек и маседуан.
- Ну, смотрите же, чтобы всего было довольно.

После обеда все разъехались. Капитаны отправились на свои суда, чтобы переодеться в статское платье и сообщить старшим офицерам, чтобы все было готово к смотру, и затем все вместе поехали на берег. Монте-Кристо конфиденциально предупредил старшего офицера, чтоб его не ждали. Он, может быть, вернется к утру.

— Надо освежиться! — прибавил он, смеясь. — Не все же штормовать в море. Надоело!

Разъехались еще и раньше все офицеры и гардемарины, кроме вахтенных. Все торопились на берег погулять и познакомиться с туземными дамами и затем собраться в гостиницу, где сегодня должен был составиться

грандиозный ландскнехт. Соберутся офицеры и гардемарины всей эскадры.

На «Резвом» оставались, кроме вахтенных да старшего офицера, только батюшка да «лобастый» гардемарин, дядя Черномор.

Адмирал прочитывал у себя в каюте газеты.

В девятом часу он вышел наверх погулять.

Заметив на шканцах лобастого гардемарина, он подошел к нему и спросил:

— А вы, любезный друг, отчего не на берегу? Или на вахту станете?

— Нет-с... Не хочется что-то, ваше превосходительство...

— Ну что вы вздор говорите. Как не хочется? Почему не хочется? Съездили бы, покатались верхом... моряки любят кататься верхом, хоть и ездят как сапожники... Посмотрели бы город... А то что сидеть на корвете... Отчего вы не съехали, а?

— Как-то не расположен-с...

— Не расположены-с?.. Не поверю... Вы и в Сан-Франциско редко съезжали... Что это значит?

— Дорого стоит съезжать! — сконфуженно

проговорил молодой человек.

— Как дорого?.. Разве вам жалованья не хватает, а? Куда вы его девааете?.. Уж не продулись ли в карты?.. Говорите правду... Вас не адмирал спрашивает, а старший товарищ! — прибавил ласково адмирал.

— Я в карты не играю...

— Так куда же вы девааете ваши деньги?.. Почему не съезжаете на берег?.. Копите, что ли?..

— Какое коплю... Я... я... ваше превосходительство...

— Ну что вы тянете? Говорите, любезный друг, толком...

— Я, ваше превосходительство, оставляю большую часть своего содержания матери... У нее, кроме меня, нет никого-с! — тихо и застенчиво проговорил молодой человек.

— Так вот почему!.. Экий вы какой славный, я вам скажу, мальчик! — с нежностью проговорил адмирал, обнимая за талию молодого человека.

И, помолчав, прибавил:

— А все-таки... не мешает и вам съездить... да-с... И вы, любезный друг, напрасно не ска-

зали мне, что у вас денег нет... И знаете ли что... Позвольте мне быть вашим банкиром, а? Что вы на это скажете?

— Я не понимаю, как это банкиром?..

— Очень просто... Вы берите у меня деньги, а после отдадите, когда больше получать жалованья будете... Вы мне же одолжение сделаете... Я не буду всех своих денег тратить... Прошу вас... Пусть это между нами...

И, несмотря на протесты молодого человека, адмирал потащил его к себе в каюту и предложил взять денег. Он просил и требовал так настоятельно, что дядя Черномор взял наконец десять долларов.

— Ну, а теперь поезжайте на берег... Товарищи ваши все там... И помните, что я ваш банкир...

Адмирал сел писать письма и велел Ваське разбудить себя завтра в шесть часов.

— А мундир готовить?

— Зачем мундир?

— А смотры делать!..

— Ты, Васька, хоть и бестия, а глуп. Зачем смотры делать в мундире, когда можно и в сюртуке? Не мешай мне!

Почтовый пароход, пришедший из Гонконга на следующий день, привез европейские газеты, в которых, между прочим, сообщалось о крайне натянутых отношениях между Россией, Англией и Францией и предсказывалась вероятность близкой войны в виду известных событий 1863 года.

Беспокойный адмирал был встревожен за положение своей маленькой эскадры и еще более раздражен тем, что из Петербурга не было никаких известий об этом.

— Эдакие скоты... эдакие болваны! Всякие глупости спешат написать, а то, о чем нужно, не пишут, — громко проговорил адмирал и, видимо, взволнованный, заходил по каюте, повторяя время от времени весьма нелестные эпитеты по адресу высшего морского начальства.

Вызванный им консул не мог сообщить адмиралу никаких точных известий. Он тоже ничего не знал.

Отпустив консула, адмирал долго ходил, обдумывая свое положение, и наконец велел

сигналом потребовать к себе всех командиров судов.

Сообщив им газетные известия, он сказал:

— Если, господа, в самом деле будет война, эти подлецы англичане получают известие о ней раньше, чем мы, и могут захватить нас врасплох... У них в китайских водах огромная эскадра. Придет и разнесет нас, как дураков, благодаря тому, что у нас в министерстве сидят болваны-с!

Флаг-капитан Ратмирцев, присутствовавший в адмиральской каюте, решил сегодня же проситься в Россию по болезни и в то же время подумал, что у него есть большие козыри в руках, чтоб насолить этому ненавистному ему адмиралу в глазах морского министерства.

— Но этого не случится... не может случиться! — воскликнул адмирал, сверкнув глазами. — Нас не возьмут живьем... Я прошу вас, господа, быть во всякую минуту готовыми к бою... Орудия имейте всегда заряженными... И я не сомневаюсь, что в случае чего каждый из вас сумеет поддержать честь русского флага.

Все молча наклонили головы.

Адмирал между тем продолжал:

— Завтра же с рассветом прошу всех выйти в море и держаться у Нагасаки... Если увидите англичан или французов, клиперу «Кобчик» немедленно дать знать сюда. Я остаюсь здесь ожидать почты и ответа от посланника нашего в Иеддо... Надеюсь, что вы, Николай Афанасьич, и вы, Егор Егорыч, поторопитесь исправить свои повреждения? — обратился адмирал к командирам «Резвого» и «Голубчика».

Оба командира отвечали, что на их судах будут работать день и ночь.

— Если известия из России, — продолжал адмирал, — подтвердят газетные сообщения, каждый из вас, господа, получит от меня инструкцию. А пока прошу держать в тайне то, что я вам сказал, а то этот англичанин-фрегат, который стоит здесь, может узнать наши намерения... Объявите на берегу и всем офицерам, что идете в Гонконг... а на рассвете непременно сняться! — приказывал адмирал.

Один из капитанов заявил, что он едва ли успеет окончить расчеты с берегом.

— Чтоб были окончены! И скажите вашему ревизору, что если ему мало части дня и всей ночи, чтоб окончить все расчеты, то я его вышлю с эскадры, как нерадивого офицера... Слышите?

— Слушаю, ваше превосходительство!

Капитаны были отпущены и, разъехавшись по своим судам, сделали распоряжения об уходе с рассветом из Нагасаки в Гонконг. На «Резвом» и «Голубчике» принялись немедленно за работы, и в тот же день новые мачты были привезены с берега.

А беспокойный адмирал в это время набрасывал свой план действий на случай войны и затем стал писать инструкцию командирам и донесение в Петербург.

Все это он делал с стремительной горячностью, точно война должна быть объявлена не сегодня-завтра.

Ратмирцев несколько раз в течение дня спрашивал Ваську, что делает адмирал, и каждый раз получал ответ, что адмирал пишет.

Наконец, уже вечером, флаг-капитан опять осведомился у камердинера.

— Пишет! — отвечал Васька.

— А как он... в духе? — спрашивал Ратмирцев.

— Не должно быть, Аркадий Дмитрич... Да вче я подавал ему стакан лимонада, так он... уставил довольно даже грозно глаза, я так и полагал, что он меня кокнет этим самым стаканом...

У трусливого флаг-капитана невольно пронеслась мысль: «А что как он и меня кокнет?»

— Если угодно, я сейчас пойду посмотрю, Аркадий Дмитрич, в каком он находится теперь градусе...

— Сходи...

Через минуту Васька вернулся и доложил:

— Извольте идти к нему, Аркадий Дмитрич, он в самом лучшем, можно сказать, состоянии своего характера.

Ратмирцев вошел в адмиральскую каюту и увидал адмирала, сидевшего без сюртука за столом. Среди тишины слышно было, как шуршало перо по бумаге.

Адмирал не слышал, как вошел флаг-капитан, и, видимо, увлеченный, продолжал писать.

Ратмирцев обдернул сюртук, пригладил и без того прилизанные свои височки и чуть слышно кашлянул.

Ни малейшего результата!

Тогда флаг-капитан кашлянул громче.

Быстрым движением адмирал вздернул свою большую круглую, коротко остриженную голову и уставил на Ратмирцева глаза.

Эти глаза, блестящие и возбужденные, казалось, не видали флаг-капитана и были где-то далеко-далеко.

— Прошу извинить меня, ваше превосходительство, — начал Ратмирцев, наклоня голову в почтительном поклоне, — я, кажется, помешал вам.

Только при звуках этого почтительно-тихого голоса адмирал, по-видимому, сообразил, кто перед ним.

И он резко и недовольным тоном спросил:

— Что нужно-с?

— Я пришел к вашему превосходительству с просьбой, большой просьбой, и смею думать, что ваше превосходительство...

Адмирал положил перо и нетерпеливо перебил:

— Да говорите короче, Аркадий Дмитрич, а то вы всегда удивительно мямлите... В чем дело?

Но Ратмирцева недаром же прозвали «придворным сусликом». Внутренне негодуя на этого «грубого мужика» (распишет он его в Петербурге!), он тем не менее продолжал тем же почтительно-изысканным тоном, чуть-чуть ускоряя речь:

— Как ни лестно мне служить под непосредственным начальством вашего превосходительства, но болезненное мое состояние...

— Вы хотите вернуться в Россию, Аркадий Дмитрич? — снова перебил адмирал, но на этот раз голос его звучал веселой и довольной ноткой.

— Точно так, ваше превосходительство, если вам угодно будет отпустить меня...

— Что ж, с богом, Аркадий Дмитрич. Если здоровье ваше требует, удерживать не стану и, как больному, разрешаю вернуться в Россию на казенный счет, — любезно прибавил адмирал.

Ратмирцев рассыпался в благодарностях. Отправки на казенный счет он не ожидал.

— Вы когда хотите ехать, Аркадий Дмитрич?

— С первым пароходом, отправляющимся в Гонконг.

— Рекомендую из Гонконга идти в Европу на французском пароходе... Отличные пароходы...

— Я так и думал, ваше превосходительство.

— Вы как думаете: прямо в Петербург или по дороге заедете в Париж?

— Хотелось бы кое-где побывать в Европе.

— И отлично... А как приедете в Петербург, расскажите Шримсу, как мы здесь плаваем и как сумасшествует «башибузук»... Они меня так называют, я знаю! — усмехнулся адмирал... — Ну, до свиданья пока, Аркадий Дмитрич, у меня много работы! — сказал адмирал, протягивая Ратмирцеву руку... — Да прикажите Вербицкому завтра же выдать вам деньги, какие полагаются! — крикнул он вдогонку.

Ратмирцев вышел из каюты адмирала очень довольный. С деньгами, какие он получит, можно будет побывать в Париже и вооб-

ще попутешествовать, не стесняясь. В свою очередь, и адмирал был рад, что избавился от этой «золотушной бабы», как презрительно называл он за глаза флаг-капитана.

«То-то будет сплетничать Шримсу на меня!» — подумал он, усмехнувшись, и снова принялся за работу.

На рассвете следующего дня все суда эскадры, за исключением «Резвого» и «Голубчика», снялись с якоря и вышли в море, сопровождаемые сигналом на флагманском корвете, изъяслявшим удовольствие адмирала. Сам адмирал, невыспавшийся, с красными глазами, стоял на мостике и смотрел в бинокль на удаляющуюся в стройном порядке маленькую эскадру.

И когда она скрылась, он, видимо, удовлетворенный, лег опять спать, с полной уверенностью, что эта маленькая эскадра в случае войны кое-что сделает.

Через три дня усиленных работ и «Резвый» и «Голубчик» были готовы к выходу в море.

Наконец, на четвертый день, пароход, пришедший из Шанхая, привез почту из России. Секретная бумага из морского министерства

подтверждала сообщения иностранных газет и предписывала адмиралу собрать эскадру и немедленно идти в Николаевск-на-Амуре, где и находиться в безопасности от неприятельского захвата в случае войны.

— Болваны! Так я вас и послушался! — крикнул гневно адмирал.

И он немедленно же прибавил к своему донесению, что считает невозможным исполнить такое приказание и оставаться все время в бездействии. В подробном же донесении, написанном еще раньше, он сообщал, что соберет всю эскадру в Сан-Франциско и, получив по телеграфу извещение о войне, отправит все свои суда в крейсерство для ловли английских купеческих кораблей и для внезапных нападений на английские колонии. Вот что он намерен сделать, вместо того чтобы позорно запереться в Николаевске-на-Амуре. Одновременно с донесением к морскому министру адмирал написал и рапорт августейшему генерал-адмиралу.

В тот же вечер Ивков был позван к адмиралу.

— Я вас посылаю курьером в Россию с важ-

ными бумагами, Ивков, — проговорил адмирал, пожимая руку молодому человеку.

— Слушаю, ваше превосходительство! — проговорил изумленный Ивков.

— Завтра утром мы уходим, а вы останетесь в Нагасаки и на первом пароходе отправитесь в Печелийский залив, а оттуда через Пекин в Сибирь и в Петербург... Надеюсь, что вы оправдаете мое доверие и докажете, что моряки могут летать не хуже фельдъегерей.

— Постараюсь.

— Я уверен, потому и выбрал вас. Предприятие и деньги на дорогу вам выдадут сегодня же, а завтра в семь часов утра будьте готовы и приходите ко мне за бумагами... Берегите их... Из Петербурга, если хотите, вернетесь на эскадру... Хотите?

Ивков, уже мечтавший об отставке, поколебался.

— Ну, как хотите... Станный вы мальчик... Я хочу вас иметь подле себя, а вы чураетесь этого... А ведь я очень расположен к вам, Ивков. Из вас вышел бы хороший моряк... все данные есть... А вы вот вместо того все стихи пишете и адмирала своего ругаете... Ну, иди-

те, собирайтесь.

На следующее утро ровно в семь часов Ивков уже был у адмирала.

Тот вручил ему маленькую сумку с бумагами и велел при себе надеть ее на грудь под рубашку. Затем он обнял Ивкова, крепко поцеловал его и сказал:

— Телеграфируйте в Сан-Франциско, когда приедете в Петербург.

— Слушаю-с.

— А теперь послушайте, мой милый, дружеского совета. Не сломайте себе шеи в Петербурге, понимаете? Вы слишком увлекающийся и горячий... А в Петербурге разные кружки... Новые там идеи... Подавай все сразу. Того и гляди, попадетесь в какую-нибудь историю... Право, возвращайтесь лучше на эскадру, ко мне...

— Я подумаю.

— Подумайте и сейчас же телеграфируйте — я вас вытребую сюда. И помните, Петя, — прибавил горячо адмирал, — что где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, у вас есть верный и любящий друг... вот этот самый «глазастый черт»! — заключил, ласково улы-

баясь, адмирал. — Ну, прощайте... Христос с вами.

В десять часов утра «Резвый» и «Голубчик» снялись с якоря. Как только они вышли в море, на обоих судах были заряжены орудия, и оба судна были вполне готовы к немедленному бою. В скором времени показалась эскадра, и на флагманском корвете взвился сигнал: «Лечь в дрейф». Вслед за тем мичман Вербицкий развез всем командирам запечатанные пакеты с инструкциями, и, когда вернулся, адмирал велел поднять сигнал: «Следовать в Сан-Франциско без замедления».

Все недоумевали, зачем это эскадра идет в Америку, если ожидают войны.

А Ивков через четыре дня уже был в Печелийском заливе и высадился в Таку. Оттуда он немедленно отправился в китайской одноколке на мулах в Тяньзин и дальше — в Пекин. Доехав из Пекина до Калгана, пограничного города в Монголии, верхом, в сопровождении казака из посольства и китайского чиновника, он в Калгане купил двухколесную монгольскую телегу и на почтовых монгольских лошадях день и ночь скакал через Го-

бийскую степь, приводя в ужас бешеной ездой сопровождавших его, меняющихся через несколько станций, китайских чиновников. В Кяхте он пересел на перекладную и уже один поехал в Петербург.

Адмирал отлично знал, как нужно было подействовать на самолюбивого юнца, чтоб заставить его лететь сломя голову. Ивков скакал как сумасшедший дни и ночи на курьерских, останавливаясь на станциях, чтоб наскоро поесть, всего в сложности не более часа в сутки, и действительно приехал из Нагасаки через Китай и Сибирь необыкновенно скоро в Петербург.

Прямо с вокзала он отправился к морскому министру. Курьер в приемной сказал, что можно идти без доклада прямо в кабинет.

Ивков вошел и увидел за большим письменным столом полную, рыхлую фигуру адмирала Шримса, в раскрытом халате, под которым была только ночная сорочка.

Несколько адмиралов и офицеров в мундирах сидели и стояли около. Адмирал Шримс что то рассказывал и заливался густым, сочным смехом.

— Откуда это вы в таком виде, молодой человек? — удивленно воскликнул министр, увидав остановившегося у дверей запыленного и истомленного Ивкова. — Где это вы ночь кутили, а? Видно, прямо из веселой компании да к министру? — со смехом говорил Шримс, хорошо известный морякам своими циническими шуточками и фамильярностью обращения, шутливо грозя пальцем. — Подходите-ка поближе... дайте на вас посмотреть... Не бойтесь, не укушу.

Несколько изумленный таким приемом, Ивков подошел к столу, поклонился и хотел было проговорить обычную фразу представления, как адмирал Шримс, протягивая свою большую белую и пухлую руку, продолжал с обычным своим видом балагура, шутки которого должны доставлять удовольствие подчиненным.

— Ну-с, рекомендуйтесь. Откуда и зачем пожаловали?

— Гардемарин Ивков...

— Покойного Андрея Петровича сын?

— Точно так, ваше высокопревосходительство. Только что прибыл из Нагасаки с эскад-

ры Тихого океана... Ехал через Китай и Сибирь.

— А какой сумасшедший прислал вас сюда? — смеясь и, видимо, нарочно спросил министр.

— Меня прислал не сумасшедший, ваше высокопревосходительство.

— А кто же? — с лукавой улыбкой перебил Шримс.

— Начальник эскадры Тихого океана, свиты его величества контр-адмирал Корнев с бумагами к вашему высокопревосходительству! — отвечал с самым серьезным видом Ивков, сильно разочарованный таким шутивым отношением к возложенному на него поручению. Он скакал день и ночь — и такая странная встреча.

Он подал министру толстый пакет и отступил от стола.

— Ишь ведь загорелось... Курьеров гоняет наш неукротимый Корнев! — заметил, усмехнувшись, министр, обращаясь к сидевшим в креслах двум адмиралам.

И адмиралы, и почти все присутствующие поторопились засмеяться.

Небрежно поворачивая в своих белых пальцах пакет, словно бы желая показать, что не придает особенной важности приведенным бумагам и не торопится ознакомиться с их содержанием, министр спросил Ивкова:

— На эскадре все благополучно?

— Все благополучно, ваше высокопревосходительство! — отвечал молодой человек, чувствуя невольную обиду за своего «глазастого черта».

— Ну что, очень вас всех разносит там ваш адмирал? Топчет фуражку? Задает вам перцу? Небось рады, что уехали с эскадры? Говорите, не стесняйтесь, молодой человек.

Ивков хорошо понял, что этот веселый толстяк с умным, заплывшим, когда-то красивым лицом, сделавший блестящую карьеру, никогда не бывавши в море, ждет от него подтверждения, чтоб позабавиться насчет беспкойного адмирала, видимо, не очень-то любимого министром.

Но вместо того чтобы ответить в тон, Ивков, чувствуя сильное негодование против этого шутника-циника, проговорил с некото-

рой аффектацией официальности и слегка возбужденным тоном:

— Начальника эскадры все слишком уважают и любят, ваше высокопревосходительство, чтоб не желать служить под его начальством... И никто из моряков, любящих дело, не в претензии, если адмирал, случается, делает выговоры и замечания... От такого моряка-адмирала, как Иван Андреевич, хоть и неприятно получить замечание, но всякий знает, что он делает их справедливо.

Министр пристально оглядел молодого человека, и с его лица сбежала улыбка.

— Вы любимчик вашего адмирала, что ли?

— Я ничьим любимчиком не был и не желаю им быть, ваше высокопревосходительство! — отвечал, весь вспыхивая, Ивков.

— Ого, какой он вернулся из жарких стран горяченький! Советую вам здесь поостыть, молодой человек. Так то оно лучше будет! — полушутя, полусерьезно промолвил министр. — Ну, с богом, родной... Ступайте... Приведите себя в надлежащий вид да явитесь по начальству, куда там следует... А я еще вас позову.

Ивков поклонился и вышел.

Когда он ехал в гостиницу, в голове его невольно явилось сравнение, и этот «глазастый черт», этот «Ванька-антихрист», которого он казнил в стихах, казался ему куда симпатичнее, милее и нужнее для флота, чем этот толстяк министр... Какая разница!

С тех пор прошло много лет.

Все эти «Резвые» и «Голубчики» давно пошли на слом и остались лишь в памяти старых моряков, которые на них плавали в дальних морях и учились своему тяжелому ремеслу под начальством такого преданного делу учителя, каким был беспокойный адмирал. Деревянный паровой флот вместе с парусами как-то быстро исчез, и на смену его явились эти многомиллионные гиганты броненосцы, оскорбляющие глаз моряков старого поколения своим неуклюжим видом, похожие на утюги, с маленькими голыми мачтами, а то и вовсе без мачт, вместо прежнего красивого рангоута, но зато носящие грозную артиллерию, имеющие тараны и ходящие благодаря своим сильным машинам с такою быстротой, о которой прежде и не помышляли.

С обычной своей энергией отдался беспокойный адмирал делу реорганизации флота и несколько лет сряду пользовался большою властью и видным влиянием. Не бывши ми-

нистром, он благодаря своей кипучей деятельностью и авторитету значил не менее министра, и без его участия или совета не строилось в те времена ни одного судна. В своем кабинете, окруженный чертежами, беседующий с инженерами, увлекающийся приходившими в его голову новыми типами судов, разносящий какого-нибудь опоздавшего мичмана или приходящий в бешенство при посещении строящегося судна, где копались и делали не так, как, казалось ему, было нужно, — он был все тот же беспокойный адмирал, что и на палубе «Резвого», так же умел вносить «дух жизни» в дело и заставлял проникаться этим живым духом других.

В его кабинете толпилась масса народа. Зная его влияние, в нем заискивали, ему льстили, перед ним казались увлеченными делом так же страстно, как и он сам. В нем видели будущего морского министра, и каждый ловкий человек старался эксплуатировать его доверчивость к людям. И он часто верил показной любви к делу и выводил в люди каждого, в котором видел эту любовь и признавал способности...

Нечего и прибавлять, что многие завидовали беспокойному адмиралу и ругали его. Особенно бранили его бездарные моряки и те ленивые поклонники канцелярщины и мертвечины, которых словно бы оскорблял своей энергией и преданностью делу этот беспокойный, во все вмешивающийся адмирал.

Они просто служили, исполняя с рутинным равнодушием свое «от сих и до сих», а этот вечно волновался, вечно кипятился, вечно представлял какие-то новые проекты, какие-то записки...

Но вот настали новые времена... Запелись иные песни. Во флоте появились новые люди, и деятельность адмирала сразу была прекращена.

Его, еще полного сил и энергии, сдали в архив.

И — как обыкновенно случается — все те, которые больше всего были обязаны беспокойному адмиралу, все те, которые чаще других обивали порог его кабинета, отвернулись от него, словно бы боясь потерять в чьих-то глазах, продолжая бывать у адмирала.

И первый, разумеется, Вербицкий, только

что произведенный благодаря Корневу в контр-адмиралы.

Еще бы! Беспокойный адмирал был почти что в опале, совсем бессильный, нелюбимый и даже оклеветанный. А главное, в то время было выгодно бранить все прежнее во флоте: и дух, и систему, и корабли, и беспокойного адмирала, как одного из выдающихся представителей и пользовавшегося особенным расположением прежнего главного руководителя флота.

Новым людям необходимо было показать, что все прежнее негодно и что у них есть своя программа возрождения.

Явился пресловутый ценз... Явился какой-то бухгалтерский и чисто коммерческий взгляд на службу; всякая посредственность, бездарность и наглость высоко подняла голову, и затем мало-помалу молодым поколением овладел тот торгашеский дух, который стал руководящим принципом. Моряки почти разучились плавать и почти не плавали. Всякий старался зашибить копейку и поскорей «выплавать ценз», а где и на чем — на пароходе ли, делающем рейсы между Петербур-

гом и Кронштадтом, или на броненосцах, отстаивающихся на трандзундском рейде, — не все ли равно?

На пароходе даже спокойнее. Так или иначе, а всякий умеющий не беспокоить начальство будет в свое время командиром и имеет все шансы посадить на мель судно на кронштадтском рейде. Этот торгашеский взгляд на службу и эта полная индифферентность к другим, высшим идеалам морского служения сделали свое дело. По мере того как увеличивалось количество гигантов-броненосцев и торжествовал «культ гроша», обезличивались люди и исчезал тот истинно морской дух, та любовь к делу и то обычное у прежних моряков рыцарство, которые являлись как бы традиционными и без которых все эти чудеса техники являются лишь бесполезными и дорогостоящими игрушками.

Подобные мысли часто приходили в голову беспокойного адмирала, и он горько задумывался, расхаживая по своему кабинету в долгие дни своего служебного бездействия и заброшенности, но уже не прежней порыви-

стой и энергичной походкой, какой, бывало, ходил по палубе «Резвого», а тихими и медленными шагами престарелого человека.

В этих грустных думах, в разговорах с немногими близкими людьми, которые навещали его, не было ничего личного. Он знал, что его песня давно спета, и не о себе думал он, не о тех обидах и ослиных ляганиях, которые пришлось ему испытать, особенно вслед за опалой, а о судьбе горячо любимого им флота.

Несмотря на свои семьдесят с хвостиком лет, он глядел еще бодро. Седой как лунь, со своей коротко стриженной головой и большими круглыми глазами, он все еще сохранил остатки прежней неукротимой энергии, а по временам напоминал прежнего беспокойного адмирала в его «штурмовые» минуты. Сильно уходился он, но стихийная натура все-таки прорывалась.

Потребность деятельности еще сильно жила в нем, и он старался выдумать ее... Дома читал, читал много и следил за морским делом. Посещал разные общества, в которых был членом, и всегда за кого-нибудь да хлопотал.

тал, за кого-нибудь да просил, являясь к разным влиятельным лицам в мундире и орденах, и настойчиво рекомендовал того «хорошего человека», который обращался к нему за помощью, и радовался, как ребенок, когда ему удавалось что-нибудь сделать, особенно для прежних своих сослуживцев.

А Леонтьев, когда-то назвавший адмирала «бешеной собакой» и принужденный оставить морскую службу вследствие того, что неосторожно отозвался в клубе об одном молодом адмирале как о человеке, слишком фамильярно обращавшемся с казенными деньгами (хотя эта фамильярность ни для кого не была секретом), и, кроме того, — что было еще преступнее! — напечатал без разрешения начальства какую-то статейку, в которой критически относился к цензу и находил, что «купеческий дух» развращает флот. — этот самый Леонтьев, оказавшийся во флоте неудобным человеком, испытал на себе истинно дружескую привязанность беспокойного адмирала.

Когда адмирал прослышал, что Леонтьев вышел в отставку и бедствует с семьей, он,

без всякого вызова с его стороны, стал хлопотать за бывшего сослуживца, и у кого только не перебивал он, кому только не надоедал, пока не добился-таки, что Леонтьеву дали какое-то место.

Испытал воистину отеческую заботливость беспокойного адмирала и Ивков, давно вышедший в отставку и попавший в какую-то «историю», заставившую его прокатиться в не столь отдаленные места.

В это декабрьское утро беспокойный адмирал, по обыкновению, встал в восемь часов, и когда Ефрем, бывший матрос, состоявший камердинером при адмирале более десяти лет, принес кофе, адмирал подал ему листок бумаги с написанными на нем фамилиями и сказал:

— Сейчас сходи в адресный стол и узнай, где живут эти господа... Возьми справки... понял?

— Понял, ваше высокопревосходительство.

— Ступай.

Напившись кофе, беспокойный адмирал отправился гулять. Гулял он ежедневно, несмотря ни на какую погоду.

Возвратившись с прогулки, он взял с письменного стола телеграмму, прошел на половину к жене и, поздоровавшись с ней, проговорил:

— А я, Машенька, вчера поздно вечером получил приятную телеграмму. Слушай.

И старик несколько взволнованным голосом прочитал:

— «Бывшие командир и офицеры „Голубчика“, собравшиеся за товарищеским обедом, пьют за здоровье бывшего своего адмирала и учителя и, вспоминая плавание под вашим начальством с чувством глубокой признательности, шлют сердечные пожелания всего лучшего и выражения глубочайшего уважения доблестному и славному адмиралу, имя которого никогда не забудется во флоте».

— Вспомнили, Машенька, и как тепло... Не правда ли? Уж я послал Ефрема узнать адреса подписавших телеграмму, чтоб сегодня же побывать у них и поблагодарить. И чего этот болван так долго шляется! — внезапно крикнул адмирал и, круто повернувшись, прошел в кабинет.

Этот Ефрем был глуп, честен и предан своему барину, который, в свою очередь, любил Ефрема и привык к нему, не переставая, впрочем, удивляться его глупости и выражать иногда это удивление в довольно энергичной форме.

Привычку свою к Ефрему, несмотря на его глупость, беспокойный адмирал довольно оригинально и неожиданно приводил иногда

как доказательство того, как трудно иногда бывает менять министров.

— Ведь вот, например, Ефрем — болван, естественный болван, а я держу его десять лет! — говорил адмирал.

Беспокойный адмирал крикнул другого лакея и, приказав закладывать карету, тревожно заходил по кабинету, поводя плечами.

Наконец Ефрем явился и с радостно-глупым видом подал справки из адресного стола.

— Отчего так поздно?

— А я, ваше высокопревосходительство, по пути заходил к портному за вашим сюртуком.

— Я разве тебе приказывал?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— И какой же ты, Ефрем, болван, я тебе скажу! Ступай, вели подавать карету! — проговорил довольно мягко адмирал, бывший в хорошем настроении по случаю полученной телеграммы.

Возвратившись домой, беспокойный адмирал рассказывал жене, как он разыскивал квартиры и поднимался в пятые этажи.

— И только троих застал. Остальным оста-

вил карточки... И знаешь ли что, Машенька? Я приглашу их всех обедать... Надо отблагодарить за внимание... И Леонтьева и Ивкова позову... Завтра же позову! Так ты распорядись, Машенька.

— Хорошо.

— И к этому дураку Любимову заезжал сегодня.

— Зачем?

— Надо было за одного человека попросить... Но эта скотина ничего не хочет сделать, Машенька... Ведь дурак, а воображает себе, что если был министром, то и умен... От него же новость услышал. Ратмирцев, — знаешь этого вылощенного болвана Ратмирцева?

— Ну, знаю, — улыбнулась адмиральша, давно привыкшая к энергической речи адмирала.

— Его старшим флагманом назначают... Эту бабу!! Этого «придворного суслика», как звали его мичмана на моей эскадре... С такими флагманами далеко не уедешь! — раздраженно проговорил беспокойный адмирал.

Он помолчал с минуту и, видимо, смягчившись, сказал:

— Да... вот говорят, что люди неблагодарны и забывают многое... А вчерашняя телеграмма, а?.. Что ты скажешь, Машенька?.. Есть, значит, люди, которые помнят, что я кое-что сделал для флота.

— Поверь, что все это сознают в душе, — горячо проговорила адмиральша.

— Ну, едва ли... Теперь, Машенька, не моряки, а торгоши... Духа нет... Ну да что говорить...

Адмирал как-то безнадежно махнул рукой, пошел в свой кабинет и принялся читать «Times».

Но сегодня ему не читалось.

Прошрое и настоящее проносилось перед брошенным стариком, и он горько задумался, склонив свою седую голову.

Примечания

1

Желудочной лихорадкой (лат.).

[^^^]

«Развести» на морском жаргоне значит: поговорить крупно с начальством. (Прим. автора.)

[^^^]

3

Флаг-капитан — должность вроде начальника штаба. (Прим. автора.)

[^^^]

4

Гражданских (от лат. civilis).

[^^^]

«Копчинка» на языке кадетов значит «скупой». (Прим. автора.)

[^^^]

6

Переменился. (Прим. автора.)

[^^^]

Сильным (итал.).

[^^^]

8

Дерзость начальнику на шканцах усугубляет наказание, так как шканцы на военном судне считаются как бы священным местом. (Прим. автора.)

[^^^]

На морском жаргоне «задаваться» — значит выставляться, поднимать нос. (Прим. автора.)

[^^^]

Время рассказа относится к дореформенной Японии, когда можно было в чайных домах покупать временных жен, обязанных на время найма сохранять верность. (Прим. автора.)

[^^^]